

АХ ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА ПОДЛАЯ...

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



2 (38) 2026

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 2 (38) 2026

Бостон
2026

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(ФРАНЦИЯ)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(ГЕРМАНИЯ)
МАРК ВЕЙЦМАН	(ИЗРАИЛЬ)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
МИХАИЛ МИНАЕВ	(США)
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН	(УКРАИНА)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(АНГЛИЯ)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(ДАНИЯ)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

Published by **M•GRAPHICS** | Boston, MA

ISSN 2575-9558

Copyright © 2026 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For obtaining permission to reproduce selections from this publication
email or call to the publisher: mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778
or editor-in-chief: guydavid094@gmail.com / 646-270-9615.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ-2026

Дорогие читатели!

В текущем, 2026 году, наш журнал, как и раньше, выходит 4 раза в год примерно в середине первого месяца каждого квартала. Печатный номер журнала будет рассылаться подписчикам непосредственно из типографии. Напомним, что с 2024 года журнал выпускается также и в электронном виде (формат PDF), рассылаемый подписчикам этой версии по электронной почте. Мы должны отметить, что подписка на печатную версию для читателей, находящихся за пределами США, будет решаться в каждом индивидуальном случае (из-за резкого увеличения стоимости доставки за рубеж, порой превышающую стоимость печати журнала в 2-3 раза) — свяжитесь с издательством по емейл для обсуждения.

Также напоминаем вам, что с 2025 года полную версию выпусков могут читать только подписчики журнала. Все остальные смогут ознакомиться на сайте только с содержанием журнала и короткими отрывками из некоторых его материалов. Для чтения полной версии журнала нужно будет либо подписаться, либо приобретать отдельные выпуски года — по ссылкам, расположенным на нашем веб-сайте в разделе **АРХИВ НОМЕРОВ**.

Для оформления подписки на 2026 год:

— **выпишите чек на имя компании-издателя: M-Graphics:**

- на сумму **80** (восемьдесят) долларов (печатная версия журнала с доставкой по США)
- на сумму **40** (сорок) долларов — для получения всех выпусков журнала в электронном виде (PDF) в любой стране мира.

Обязательно укажите полное имя, точный почтовый адрес и адрес электронной почты (для получения электронной версии).

— **вложите чек в конверт и отправьте его по адресу:**

Attn: Mr. David Guy
2896 West 8th Street, Apt. 15 P
Brooklyn, NY 11224

Телефон для справок: **(646) 270-9615**

Для тех из вас, кто предпочитает электронные методы оплаты, подписку также можно оформить на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ ДВЕ НОВЕЛЛЫ	6
Борис САНДЛЕР ЧЕЛОВЕЧЕК С СОБАЧКОЙ ПО ИМЕНИ СЫСКИН	49
Борис ПУКИН БАРАК №6	69
Нина ДАНИЛЕВСКАЯ ШУШИКА	75
Семён РЕЗНИК Я ИХ УВИЖУ ВТРОЁМ (ИЗ НЕНАПИСАННОГО РОМАНА)	104
Давид ГАЙ СРЕДЬ КРУГОВРАЩЕНЬЯ ЗЕМНОГО (ГЛАВА ИЗ СЕМЕЙНОЙ САГИ)	126

ПОЭЗИЯ

Михаил КОВСАН	41
Инна ТРУФАНОВА	60
Марк ВЕЙЦМАН	92
Борис ЗВЕРЕВ	146
Евгения БОСИНА	158
Соня ЛЕВИНА	228
Борис ТОЧИЛЬНИКОВ	235

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Евсей ЦЕЙТЛИН ЖИТЬ ЛЕГКО	140
--	-----

ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нина АБРАМОВИЧ

ДОМ ДЛЯ МАГДАЛЕНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 169

ПАМЯТЬ

Михаил ГУСЕВ

ВСЯ ЖИЗНЬ — ПОЛЁТ (О ПОЭТЕ И ФИЛОСОФЕ ТАНЕ АИСТ) 198

ДАТЫ

Ксения ГАМАРНИК

ТАЙНЫ АГАТЫ КРИСТИ (50 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА) . . 209

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Юрий СОЛОДКИН

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ 241

Артур АКСЁНОВ

СОЗДАВАЯ МУЗЫКУ (120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА БЕРЛИНА) . . 259

Анна ЛОГВИН

ПОМОГАЕМ УКРАИНЕ 274

Аркадий БЛЮМИН

КЛУБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ 277

ПЕРЕВОДЫ

Константин ГУЛИСАШВИЛИ

ГАЛАТИОН ТАБИДЗЕ — КЛАССИК ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ . . 282

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Яков ФРЕЙДИН

ПОЧЁМ АВАНГАРД? 293

Михаил ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ
ДВЕ НОВЕЛЛЫ

ВОПРОСЫ ОРНИТОЛОГИИ В УКРАИНЕ

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

1

Голова закружилась уже на первом эскалаторе. Меня сильно повело вперёд, я вцепился в поручень, закрыл глаза и стал уговаривать себя, что всё будет хорошо. Нет, на второй эскалатор мне уже не надо. К счастью, в Киеве эскалаторы бегут быстрее, чем у нас в Москве. Я вышел на улочку возле «Золотых ворот». Солнце. Снял проклятую ковидную маску и вдохнул.

Чугунная чаша фонтана изображала вазу для фруктов. Вокруг фонтана за столиками кафе сидели весёлые люди. Я опустился на скамейку.

Эта гадость открылась лет пять тому назад. Я лежал полуголый, закрыв глаза, под аппаратом УЗИ и чувствовал нежный запах духов доктора. Наконец, я услышал:

— Можете сесть.

Врач сидела напротив, держа в руках фонендоскоп, и смотрела на меня. Молодая, приятная женщина в белом халате.

— Доктор, — попробовал пошутить я, — вы так смотрите на меня, словно удивляетесь, что я ещё живой.

— Вы угадали, — ответила она серьёзно. — Странно. Вы кто по профессии?

— Я журналист.

— Тогда понятно. Можете одеться.

Что ей понятно?

Она рассказала, что у меня полностью закупорены обе сонные артерии. Это случилось уже давно. Но мой организм умудрился восстановить питание мозга самостоятельно, поэтому я не умер.

— Очень редкий случай. Я читала об этом, но сама вижу в первый раз. Я хотела бы написать статью о вас.

— Я буду рад, доктор. Значит ли это, — с трудом сложил я фразу, — что я могу умереть в любой момент?

— Нет, конечно. Раз уж вы выжили непонятным мне образом... Но обязательно обследуйтесь у нейрохирурга.

Нейрохирург пробурчал, что мой случай неоперабельный. В конце нашей милой беседы я спросил:

— Я могу посещать бассейн?

— Без фанатизма.

— Парная?

— Без фанатизма.

— Секс?

Врач посмотрел на меня поверх очков.

— Без фанатизма.

Скучняк какой-то попался.

Всё хорошо. Это — летний Киев. Я опёрся руками о скамейку, чтобы осторожненько встать.

— Скажите, вы счастливы? — спросил меня парень, сидевший рядом.

Никогда в Москве я не услышал бы такого вопроса от незнакомого человека.

Хмурый, лет тридцати, довольно неряшливо одет. На голове круглый камуфляжный кепарь с их трезубцем.

— Простите?

— Вы счастливы?

Он застал меня врасплох.

— Сегодня нет, а на круг — да, всё нормально, — ответил я, подумав.

— Не понял.

— Ну, всё-таки мне кое-что удалось в жизни сделать. Так — круги на воде.

— Понял. И то, что люди каждый день стреляют друг в друга, вас устраивает...

— Нет, конечно.

— Нет, конечно, — передразнил он. — Вот вы сидите тут, здоровый, а моему братану фугасом ноги оторвало.

— Сочувствую.

— Да пошёл ты...

Я встал и пошёл. А что — мне драться с ним? Я здесь заезжий зевака, мой официальный статус вписан во въездной анкете — турист. Я приехал, чтобы оформить владение квартирой, которую я по завещанию получил от дяди Мити, и выставить её на продажу. В аэропорту со мной полтора часа «беседовали» пограничники — ребята молодые, вежливые и цепкие. ПЦР-тест, страховка от ковида, кто пригласил, когда в последний раз были в Крыму, «пальчики», глаз...

Жить в Киеве я не собирался, конечно, хотя бы потому, что недолюбливаю украинцев. Не знаю, как это сложилось в моей жизни, но мне кажется, что их ручки всегда сложены в положении «к себе», а любимое слово у них «мій», то есть «мой».

Перед отъездом сюда я шёл днём по Большим Каменщикам и услышал за спиной: «Ненавижу хохлов...». Я обернулся: мужик лет пятидесяти, вроде не пьяный.

— Будь моя воля — всех бы перестрелял...

— Дурак ты, дядя, — сказал я ему.

— Ты, в очках! Я — майор, понял? — заорал он. — Я их знаю как облупленных. Все — предатели и изменники.

Вот дай таким майорам власть, они натворят дел. И ведь уже воюют.

Митя действительно приходился мне двоюродным дядей, хотя нас разделяло всего девять лет. Я всегда говорил ему «Вы». Не единожды я коротко гостевал у него, в основном зимой, ещё до начала войны на Донбассе. Помню, я посмеивался над украинским языком, обнаружив «речі», оказавшиеся вещами, и «краватку» — галстук. Особенно меня веселили «кількість» и «якість».¹ Это не прибавляло тепла в наши отношения. Тем не менее Митя часами таскал меня по Киеву и в ответ на мои вздохи бурчал:

— Я — гид-террорист. Пока не увидишь всё, что тебе положено, и не думай о пощаде.

Я и не думал. По вечерам мы играли в «кабалу» и беседовали. Колода карт наверняка ещё лежит во втором ящике буфета — живший отшельником профессор-математик ценил порядок. «Математика, — говаривал дядя, — универсальная основа мировосприятия и общения человечества». Большая его фотография стоит сейчас за моей спиной на буфете.

В те времена я уже всерьёз занимался генеалогией. Дядя отнёсся к моему увлечению со свойственным ему скепсисом — мол, это всего лишь дань моде. Но я нашёл в Черниговском архиве документы о нашем

¹ Количество и качество (укр.).

древнем украинском происхождении — и дядька буквально расцвёл. Я похихикал тогда над ним. А когда я подарил ему «Дворянский календарь» с родословной росписью нашей фамилии, начиная с XVII века, мой милый дядя отвёл меня в лучший киевский ресторан — сейчас уже не помню названия.

Вполне провинциальная улочка Олеся Гончара, писателя. Позапрошлого века кирпичный серовато-бежевый дом с балконами на перекрёсток. В нём, в третьем этаже, бывшая дядина, а теперь моя «однушка». Улица с претензией: она начинается со взъерошенного, очень сердитого бронзового воробья, сидящего на клетке с выломанными прутьями. Никогда не видел воробья в отдельной клетке... На медной пластине внизу выбито: «Інтелігенція має гідність», то есть: «У интеллигенции есть достоинство».

Через десяток шагов на сером гранитном постаменте стоит мудрый ворон-долгожитель в цилиндре. Табличка под ним гласит: «Інтелігенція пам'ятає минуле» — «Интеллигенция помнит о прошлом». Далее — как бы тома книг и: «Усьому свій час». И снова птица, с длинным клювом и тростью под крылом, которая осталась для меня загадкой. На пластине выбито: «Інтелігенція зберегає майбутнє», то есть: «Интеллигенция — хранитель будущего». И последняя — очень печальная, даже несчастная, на мой взгляд, сова. Под ней: «Інтелігенція виховує сьогодення» — «Интеллигенция воспитывает современность».

Смешно. Я не верю в остатки нашей интеллигенции. Или в Украине с её «революцией достоинства» всё по-другому?

За птицами — зелень «сквера киевских интеллигентов», сад, «сочинённый» дядей Митей, влюблённого во всё растущее на земле. Пару дней назад я обнаружил во дворе возле дома два куста бузины, увешанные пястками ягод, — привет от дяди, запомнившего мой шуточный совет, и дерево с зелёными стручками-макаронинами — катальпу.

Парнишка с пучком волос на затылке, сидевший на террасе кафе напротив сквера, открыл мне имя таинственной птицы — зимородок. На стене арки возле кафе написано чёрным фломастером: «Типа пришёл, типа написал, типа надпись». Тут вообще все арки, да и стены домов испещрены граффити и картинами местных «умельцев». Я в жизни не узнал бы в чёрном человеке с гитарой Би-Би Кинга, если бы не подпись.

Лишённый московского бассейна, я вздумал бегать по Пейзажной аллее. Каждое утро вертикальное зеркало, зачем-то повешенное дядей в крохотном совмещённом санузле, отражало вернувшуюся с пробежки «людину пожилого віку», как здесь говорят, с лысым черепом-яичком.

«Ты, Матя, — вылитый палочник», — когда-то определила меня бывшая жена. Палочник — совсем неплохо. Клементина Черчилль называла мужа «Мой мопсик!».

После обязательного утреннего кофе я взял с собой дядину трость с набалдашником в виде серебряной головы гуся, и мы отправились навестить воронов. Днём в Киеве никто никуда не спешит. Я шагал по солнечной стороне Рэйтарской улицы, отороченной молодыми липами и каштанами, иногда держа трость подмышкой, как зимородок, как заправский фланёр. Глаз радовали уличные кашпо, раскрашенные в цвета государственного флага. Я вошёл под знакомую арку. Слева, рядом с флигелем, появились выносные столики и молодёжь, уткнувшаяся в свои айфоны-смартфоны. Я прошёл мимо них к раскидистому клёну в глубине двора. В тени его кроны по-прежнему стояли два вольера — но лишь в одном сидел на ветке ворон.

— Привет, — сказал я ему, — ты Крум. А где Карлуша и её друг?

Ворон наклонил голову с кокетливым хохолком над клювом и посмотрел на меня.

— Поиграем? — я поднял палочку и протянул ему сквозь ячейки вольера, как играл дядя Митя с Карлушей. Она хваталась за палочку, и они тянули её, каждый к себе, а дядя тихо говорил ей нежные слова. Он выпускал палочку, и тогда уже Карлуша сама протягивала её в ячейку, предлагая продолжить.

Но Крум не стал со мной играть. Он припрыгнул по ветке к самой решётке, подставил мне голову, и я пальцем осторожно погладил его иссиня-чёрные перья.

— Мити больше нет, — прошептал я. Ворон молчал, прислонясь к решётке, а я гладил его голову.

— Вибачте, можна мені увійти? — услышал я за спиной.²

Худенькая женщина в рабочем халате и в повязанном по-деревенски платке принесла к вольеру ведро воды.

Я посторонился.

— Добрый день. А где остальные двое?

— Їх більше немає...³

Я понял по её голосу, что со мной не склонны разговаривать, исел на скамейку неподалёку. «Бросил мусор — хрюкни!» — приглашала картонка, приклеенная к скамье. Тут, глядя на мурал напротив со стаей чёрных воронов и одним белым в центре, мы обычно сидели с дядей

² Извините, можно мне войти?

³ Их больше нет.

Михаил КОВСАН
ПОЛЮЦИФЕРСТВУЕМ, МОЙ ДЬЯВОЛ

ЧЕТЫРЁХСТИШНО-ЧЕТЫРЁХЧАСТНАЯ ПОЭМА

*КОГДА НЕ ПИШЕТСЯ, ТО ПИШЕТСЯ КАТРЕН,
Его писать не надо, сам собою
Приходит он из дальнего приобя,
Напоминая то обман, а то обмен.*

1

Брат брату—Каин. Дьявол ни при чём

МОЙ МИЛЫЙ ДЬЯВОЛ, ВИЖУ, ЧТО ЗДОРОВ
И, как всегда, истории полезен,
Ты вездесущ, с двуногими любезен,
Им пособляя честно в ломке дров.

ДЬЯВОЛИАДА! БАРАБАНЫ, ДРОБЬ!
Фанфары, трель! Людишки, трепещите!
Не скрывшиеся твари, не взыщите!
Им выживший себя не уподобь!

ЧЕРТЁНОК! ДЬЯВОЛЁНОК! САТАНА!
У вас ко мне, надеюсь, нет претензий
По поводу цветов, скажем, гортензий.
Ах, так! Она? Другому отдана.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ? РАЗГЛЯДИ ДЕТАЛЬ,
Понюхай, поверти, полюбопытствуй,
Замешаны ль владетельные лица,
Зовущие тебя в дурную даль.

ПОПАЛСЯ НЕРВНЫЙ ДЬЯВОЛ? УСПОКОЙ!
У них ужасно трудная работа.
Клиенты? Нет капризнее народа!
Уроды! Всех и каждого урой!

НИЧТО НЕ ВЕЧНО, ДЬЯВОЛ, ПОД ЛУНОЙ,
Но вечно зло, ох, дьявольски живуче,
Смолой кипучей не сгорает в буче,
Чубасто завихрившейся войной.

ДЬЯВОЛЫ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Чтоб вместе, очертя, вам сатанеть!
Беды творить и смело тырить снесь!
Черти всех стран, стремглав совокупляйтесь!

БРАТ БРАТУ — КАИН. ДЬЯВОЛ НИ ПРИ ЧЁМ,
Не при делах, не при — он — исполненьи,
Братья близки чертовски вне сомненья,
Всё сами, подгадал слегка им чёрт.

НОЧЬ ЭТА ДЬЯВОЛЬСКИ ОТЧАЯННО ТИХА,
Лист не шуршит, не слышен сатанинский
Стих, даже визг не раздаётся свинский,
Зачин чертовский, и беда лиха.

НЕ ГОЛОСИСТ ОН. ДЬЯВОЛ СКРОМНО ТИХ,
Любезен и чертовски добродушен,
Лишь иногда — свидетельствуют уши —
Подслушивает челов и чувих.

ДЬЯВОЛ ЗАПЕЛ. СОПРАНО? БАРИТОН?
Во всём силён. Всё дьяволу подвластно,
Хоть получается не всё всегда прекрасно,
За всё берётся — усекайте! — он.

А КАК ТЕБЕ, ДЬЯВОЛ, ИДЕЯ ОБУЗИТЬ?
Совесь, однако, большая обуза!
Тяжко таскать, в миру промышляя!
Шар в лузу летит, не размышляя!

ПРОТОПЧЕШЬ, ДЬЯВОЛ, МНЕ ТРОПУ ДОМОЙ?
Не ты изгнал, сам вырос я из детства,
Из ветреного в жизнь собственную бегства,
Там, за кудыкиной пропащей за горой.

2

Сажень косая, дьявол, для чего?

ОСТАВЬ ПОНТЫ, БУЗИТЬ НАМ ДЛЯ ЧЕГО?
Смертный без дьявола, увы, не обойдётся,
Куда б ни двинул, тотчас обернётся,
Чтоб плюнуть через левое плечо.

А СКОЛЬКО ЭТО МАЛО НА ЧЕЛНЕ?
Ты знаешь, дьявол, можешь мне ответить?
А если, присмотревшись к ним, отметить
Приметы дьявольщины на челе?

ОБКУРЕННЫЙ, ТЫ, ДЬЯВОЛ, НЕ СЕЧЁШЬ,
Душу двуногую совсем не просекаешь,
На берегу встречает Навсикая
Спасённых, где ты был, чего ты ждёшь?

ГРЕХИ ГРЕХАМИ, ДЬЯВОЛ, НЕ ГРЕША,
Ещё никто прожить не умудрился,
Грешно сказать, безгрешно не стремился
По острию прошествовать ножа.

САЖЕНЬ КОСАЯ, ДЬЯВОЛ, ДЛЯ ЧЕГО?
Ведь сам твердил: не силою, но духом,
Стать смертным не врагом, стать смертным другом,
А ты — где духу поселиться здесь? — ого!

ТЫ ИЗВИНИ, НО ДОЛЖЕН Я СПРОСИТЬ,
Ты с ангелом... Ты сам ведь бывший, павший...
Я — дьявол! Точка! Чепуху сказавший
Просто хотел от правды откосить.

ТЫ СЧАСТЛИВ, ДЬЯВОЛ, ТАК, КАК СЧАСТЛИВ Я
Встрече с тобой при Северном сиянье,
Бледно туманном, в сущности, нирванном,
Я вижу дьявола, как вижу я себя.

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ ТЫ ПИЛ,
Полночный дьявол? Ты пьянел от страсти?
Едал восточные ты сладостные сласти?
Мечтаньям наяву внимал, когда курил?

ПОЛЮЦИФЕРСТВУЕМ, МОЙ ДЬЯВОЛ, НОЧЬ ДЛИННА,
Бутыль полна, а тема бесконечна,
Как это жить, не уставая, вечно,
Не доживая никогда до дна?

ДРУЖИЩЕ ДЬЯВОЛ! ГДЕ ДОБРО, ГДЕ ЗЛО,
Не только у Облонских всё смешалось,
Сместилось, на сознании сказалось,
Двоится прежде бывшее одно.

ЧТО, ДЬЯВОЛ, НЕЛЕГКО ТЕБЕ СЛУЖИТЬ
Злу, о добре несколько не заботясь,
Работа нервная, весь день-деньской на взводе —
Над душами заблудшими кружить?

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ! КТО, КАК НЕ ТЫ, СИЛЁН!
Спасает или нет — вопрос открытый.
В чём дьявольство? Собака где зарыта?
Вопрос иной задам: кит или слон?

3

Я жанр поэмы, дьявол, избрёл

НУ, ДА, КОНЕЧНО, ВСЁ ЖЕ ИЗВИНИ,
Боюсь, что побрататься не смогу я,
Беседу с пивом с дьяволом смакуя,
Я в ночь... Довлекут будничные дни.

Борис САНДЛЕР
ЧЕЛОВЕЧЕК С СОБАЧКОЙ
ПО ИМЕНИ СЫСКИН

Из серии «ЛЕБЕДИНЫЙ ПАРК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ —
ЖИТЕЛИ ФЛОРИДЫ»

*Пташка Сыскин, где ты был?
На свиданье я ходил
(французская народная песенка)*

*Siskin — по английски чиж, чижик
Англо-русский словарь*

Он сошёл с детского рисунка — человек, который тащил на поводке собачонку. В пространстве вырисовался живой старичок. Груз лет, навалившихся на его узкие плечи, так сильно сгорбил его, что подбородком он упирался в грудь. Длинным, заострённым концом носа старичок прокладывал себе дорогу, всматриваясь в неё через очки, съехавшие на самый кончик. На голове у него была красная бейсболка. На длинном козырьке её красовалась надпись жёлтыми буквами «**Drill, baby, drill**».¹

Одет он был в тёмно-серую курточку, широкую, длинную, всю в пятнах, из-под которой виднелась бордовая рубашка, застёгнутая на все три пуговицы. К его серым брюкам, видно, никогда не прикасался горячий утюг, разве что много лет назад, когда старичок купил их на большой распродаже. Ноги у него были обуты в кроссовки. Казалось, что они ему велики, потому что носы кроссовок глядели вверх на его опущенный нос с надеждой повстречаться в будущем.

¹ «Drill, baby, drill» — «Бури, детка, бури». Один из лозунгов предвыборной кампании Д. Трампа

Собачка, которую хозяин тащил на узком поводке, по шкале собачьей продолжительности жизни была одного возраста с хозяином. На её шкурке уже почти не было волос. Они все облезли, и она напоминала маленького розового поросёнка. Упираясь передними лапками в асфальт, это странное создание не давало тащить себя и тихонько, но зло рычало.

— Сыскин, — старичок повернулся к упряму всем телом, — некрасиво, Сыскин...

Он придвинулся к собачке, с трудом нагнулся и обхватил её обеими руками. Довольный Сыскин выглядывал из его объятий, как из спасательного круга.

— Ты некрасиво ведёшь себя, Сыскин,.. некрасиво...

На четырёхкилометровой асфальтовой прогулочной дорожке, окружавшей центральную часть посёлка «Лебединый парк», где люди прогуливались по утрам, чтобы проветрить свои лёгкие после жаркой ночи, и по вечерам, словно припадали к резервуару с насыщенным свежестью прохладным воздухом, наша парочка, старичок и его собачонка, имели собственное «местечко» — отрезок в пятнадцать-двадцать метров, где они гуляли. Каждое утро прохожие могли повстречаться с ними и услышать приветствие старичка. Он произносил его тихо, себе под нос, и так как поднять голову мешал ему горб, глаза его устремлялись вверх к козырьку, будто приглашали обратить внимание на надпись: «**Drill, baby, drill**». Потом он легонько потряхивал собачку, которая наостряла свои ложечки-ушки и ещё сильнее тарасила круглые глазки. Влажный носик шевелился, морщился, будто улыбался в ответ на приветствие. В объятиях хозяина Сыскин чувствовал себя спокойно и уверенно ...

Девочка лет пяти-шести перестала рисовать. Она зажала в уголке рта кончик карандаша и взглянула на нарисованную собачку.

— Да, Сыскин, ты избалованная маленькая собачонка... — сказала она вслух.

Девочка вчера приехала к бабушке из Нью-Йорка. Ей не верилось, что в одно и то же время в Нью-Йорке может быть зима, а здесь, во Флориде — жаркое лето. Там за окном всё выглядит серым и печальным — небо, деревья, улица; а здесь всё не так — небо голубое, деревья зелёные, улица весёлая. Она подбежала к своему рюкзаку, раскрыла застёжку-молнию и порылась там рукой. Её глазки заблестели — рука нащупала то, что нужно — пенал с цветными карандашами.

Через несколько минут девочка стояла на коленях на бабушкином диване. Она разложила свой альбом, высыпала карандаши из пенала на

широкий подоконник, и первые робкие линии разбежались по белому листу бумаги.

— Что бы нарисовать? — спросила она сама себя и сама себе ответила: конечно, человечка с собачкой по имени Сыскин...

Вот так на листке бумаги появился человечек, который тащит за собой на поводке собачку Сыскин.

Водя карандашом по белой бумаге так, будто он мог вырваться из её пальцев и снова спрятаться в своём домике-пенале, девочка произнесла вслух: — В Нью-Йорке сейчас холодно и идёт дождь...

В особо прохладные дни, когда воздух становился густым от влаги и комьями застревал в груди, старичок сажал свою собачку в маленькую колясочку, подобную тем, в которых девочки вывозят на прогулку своих кукол. Он толкал эту коляску, и собачка быстро засыпала. Радость, которая сквозила во всех его движениях, передавалась каждому, кто шёл им навстречу. Тогда он приостанавливался, смотрел поверх очков, по привычке, и растроганный собственными словами, тихонько шептал:

— Спи, деточка, спи...

Собственно говоря, в «Лебедином парке» не было недостатка в выгуливаемых собаках. Точно так же, как местные старожилы, их четвероногие члены семьи нуждались в свежем воздухе. Главным образом, так называемые комнатные собаки, как, например, чихуахуа нашего старичка, или другие — папильоны, пекинесы, болонки, пудели, — чувствовали здесь себя вольготно, хотя их свобода ограничивалась длиной поводка, который тянулся от шеи собачки к руке хозяина. Был ещё один «ограничитель», который удерживал как хозяина или хозяйку собаки, так и саму собаку, в жёстких казённых рамках — документ с печатью доктора-психиатра о том, что человек нуждается в «эмоциональной поддержке». Вот так обычная собачонка забрела в столь важную часть человеческого бытия и стала преданным спутником одинокой старости.

Много лет назад, когда горб у нашего героя не торчал так заметно и очки уверенно сидели на его носу, Майкл не нуждался в собаке для «эмоциональной поддержки». Галантерейный магазин, который отец оставил ему в наследство в Квинсе, вполне поддерживал его как эмоционально, так и финансово. Собственно говоря, Майкл вертелся в этом бизнесе ещё при жизни отца, знал, как говорится, все входы и выходы, тем более его единственным компаньоном, как наставлял отец, была жена Майкла. С ней Майкл делил и постель, и магазин. Однако, как говаривал отец, торгуют так долго, пока не проторгуются. И такое время пришло. Район, где стоял магазин, начал пустеть. Это значит, что старые

покупатели ещё со времён его отца сменили свои адреса — кто переехал ближе к детям, кто перебрался в дом престарелых, а кто, ни о ком не будь сказано, перекочевал на Гору Кармель или Гору Хеврон.² В конце восьмидесятых в районе поселились новые обитатели и, как водится, вновь прибывшие иммигранты быстро развернулись. Для Майкла они все были «русские», хотя называли себя бухарскими евреями. У них были смуглые лица, золотые зубы, говорили они по-русски и в большинстве были верующими. Свой бизнес они вели на широкую ногу и были богаты, и Майкл снова вспомнил слова отца, что легче поднять с земли пьяного, чем пошатнувшийся бизнес... Во всяком случае, ему это было не под силу. Его галантерейный магазин перекупил бухарский еврей и превратил в ювелирный...

Девочка вдруг спохватилась, что человечку с собачкой, наверное, холодно гулять в сером, холодном Нью-Йорке. Растерялась лишь на мгновение. Она схватила зелёный карандаш и быстро начала рисовать длинные изогнутые листья пальмы, которая растёт против бабушкиного окна. У пальмы высокий стройный ствол, но из окна бабушкиной квартиры, расположенной на втором этаже, видны только ветви. Пусть они висят над гуляющим человечком и его собачкой. Ради этого человечек и его собачка в два счёта перенеслись во Флориду. То есть, из зимы в лето.

Удовлетворённая своим волшебством, девочка уже уверенно нарисовала над пальмовыми ветвями кусочек синего неба, и сквозь эту синеву пробивались жёлтые солнечные лучи. Они чуть ли не зацепили красную бейсболку у человечка на голове...

Примерно через год Майкл с женой перебрались во Флориду и поселились в посёлке «Лебединый парк». Так оно звалось, это место, где ни единого живого лебедя никто из обитателей никогда не встретил. Хотя озёр в самом посёлке было много — небольших, но вполне привлекательных для диких гусей, уток, цапель, зелёных игуан...

Окна большой застеклённой лоджии в квартире Майкла выходили на такое озеро. Картина в раме окна, оставаясь неподвижной, ежеминутно изменяла свой сюжет — вот гуси и утки внезапно оторвались от водной глади, как будто их что-то испугало, и унеслись в небо, а вот неуклюжая игуана высунула из воды свою широкую зелёную морду и лениво потащила по траве. В одно мгновение её хвост исчез из поля зрения Майкла. Несколько пухлых облаков с сытыми надутыми щеками потихоньку

² Гора Кармель и Гора Хеврон — название двух еврейских кладбищ в Квинсе

растянулись над озером, отразились в нём и застыли в оконном обрамлении. Этот пейзаж дышал чистым воздухом и насыщал глаза красками.

Вырезанная из пространства четырёхугольная картина запечатлевалась в мозгу у Майкла и застывала в нём как фон, на котором проносились обрывки воспоминаний, вылетающие из клетки его памяти, где заперты были прожитые годы.

Квартира родителей в Квинсе находилась на втором этаже; на первом был галантерейный магазин отца. Кажется, первые воспоминания Майкла связаны с запахом товаров, которыми торговал его отец: кожаных портмоне, кошельков, кошёлок всевозможных фасонов, величины и цвета, сумок, портфелей и чемоданов, дамских и мужских перчаток... Все эти запахи носились в воздухе по всему дому, пробивались через пол, по которому маленький Майкл ползал на четвереньках лет до трёх, так как его ножки были слишком слабы, чтобы удержать его туловище и голову. Не раз доводилось ему поздно ночью слышать мамины вздохи и жалобы: «Лучше бы мне быть убитой и сгореть в концлагере, как моя мама и сёстры, чем жить и видеть, что мой единственный сын — калекка...» Она произносила это на идише, но Майкл всё понимал. Мамин плачущий голос, доносившийся из спальни, преследовал его всё детство.

Когда маленький Майкл впервые перешагнул порог отцовского магазина, размером не более их гостиной, с трёх сторон обставленного высокими деревянными стеллажами с товаром, ему почудилось, что он попал в огромный чемодан, туго набитый кожаными вещами.

Он стоял, оглушённый и растерянный, вцепившись в мамину руку, как будто она могла его здесь, не дай бог, оставить, и крышка чемодана закрылась бы и заперлась на все замки. Но нет... Эти страхи скоро ушли, улетучились. Более того: он стал частым посетителем отцовского магазина, полюбил прятаться на корточках под прилавком, когда входил покупатель, и потихоньку выглядывать оттуда, как наказанная собачонка. Отец был занят с клиентами, а он, Майкл, с интересом прислушивался, как отец обслуживает их. Проводив до дверей покупателя после удачной сделки, отец наклонялся к сыну, целовал его в головку и говорил, будто самому себе: «Вволю поторгуешь, ума добудешь», адресуя это, однако, Майклу, чтобы он запомнил на будущее.

Со временем так и случилось. Ещё учась в старших классах, Майкл не раз помогал отцу в магазине. Иногда он раскладывал полученный товар на полках в «подсобке», как отец называл боковую комнатку без окон, или осматривал товар в коробках: в летний зной — не пересохла и не сморщилась ли кожа, зимой, напротив, не потеряла ли кожа блеск,

не поблѣкли ли её краски. Иногда, если отец должен был на некоторое время оставить магазин, особенно когда мама болела, Майкл становился тут полным хозяином. Советы отца и собственные наблюдения, как отец обслуживает покупателей, как он разговаривает с ними, даже его улыбка, ему очень пригодились. Он ловко справлялся с кассовым аппаратом на прилавке, и отец всегда был доволен своим сыном...

Майкл стоял за креслом, из которого его жена смотрела сквозь широкие окна на воду. У неё на коленях, свернувшись калачиком, дремал Сыскин. Жилистые руки нежно гладили плешивую шкуру. Губы шевелились, будто шептали что-то. Майкл наклонился к жене справа и тихо спросил, не хочет ли она выпить воды. Губы в конце концов издали хриплый звук: «красиво, правда...» — казалось, что жена видит картину в окне впервые.

Через минуту она добавила: «Сыскин уснул... Устал, бедняжка...»

В тот день — отца как раз в магазине не было — колокольчик над входной дверью известил, что через порог вошли две женщины. Точнее, женщина в летах с девушкой. Майкл тотчас пошёл им навстречу, широкой улыбкой приветствуя их. В них легко было узнать обитателей еврейского религиозного района в Квинсе. Майкл остановился в сторонке.

— Может, я могу вам чем-то помочь... — спросил он вежливо на идише.

Но женщина его сразу остановила:

— Спасибо, мистер, мы уж сами разберёмся.

Она подошла к стеллажу с ридикюлями. Девушка задержалась на мгновение, взглянула на Майкла: «Вот такая у меня мама...» — и поспешила вслед за пожилой женщиной. Майкл заметил, что девушка прихрамывает на правую ногу.

Когда отец вернулся, Майкл отдал ему выручку и при этом, склонив голову, добавил, что одну сумочку он продал ниже её цены. Отец промолчал, и лишь закрывая магазин, добродушно обратился к сыну, словно оценивая его сегодняшний доклад: «Бизнес превыше соблазнов!». Майкл истолковал это по-своему: неужели у него на лице написано, что он сделал это ради девушки. А ведь правда... Она ему понравилась. Её мать перебрала несколько сумочек, в конце концов, не спрашивая у дочери, нравится ли ей или нет, протянула свой выбор продавцу: «Мы берём эту вещицу... Сколько она стоит?» — Майкл назвал цену. «Достаточно и половины, — сказала она жёстко, как припечатала, — упакуйте!». Дочка стояла за широкой спиной матери, смущённо опустив голову.

Несколько дней после встречи с девушкой Майкл старался не бывать в магазине, он находил себе работу в «подсобке». В ушах звучали

Инна ТРУФАНОВА
ИЗБРАННОЕ

ДЕВЯНОСТО ДНЕЙ ДЛЯ ЭСКИЗА

Снова осень... Мячик золотой,
Подхвативши крик заблудшей птицы,
В синее окно попасть стремится,
Чтобы до зимы побыть со мной.

Девяносто дней — не просто
Жить и не тужить с незванным гостем.

Девяносто листопадных дней
Между небом и землёю скачут,
Собирая толпы рифм бродячих
Для эскиза осени моей.

Там, где ловкий прыгнул мячик,
Солнечный остался мёрзнуть зайчик...

Превратятся эти пятна в лёд...
И достигнет так или иначе
Моего жилья упрямый мячик.
И засыплет мир стеклянный дождь...

Календарь зимы листая,
Мы с надеждой в прятки поиграем...

КОГДА Я ОТТАЮ

Когда я оттаю, всё будет, конечно, иначе.
 И душу рассвет не спугнёт, не хлестнёт по глазам.
 Слетая с дрожащих ресниц, сны нашепчут удачу —
 И в день я с надеждой войду, как в волшебный Сезам.
 Я тёплой волною вольюсь в половодие улиц.
 И хаос приветливых взглядов меня закружит.
 И я вдруг замечу, что птицы в мой город вернулись —
 И плечи расправлю с восторженной жаждою — ЖИТЬ...

И небо подхватит поток необузданных мыслей —
 Под ношей такой горизонта осядет стена.
 И мир встрепенётся, наполнен желаньем и смыслом,
 И всё-таки, всё-таки примет с любовью меня!..
 Всё будет совсем по-другому, когда я оттаю.
 Мой плен ледяной опадёт и рассыплется в прах.
 И я без оглядки, сомнения — просто мечтая —
 Построю воздушные замки, воспетые в снах...

И солнце к душе станет ближе, приют обретая.
 И будут прозрачны стихи, а дорога светла.
 И голос мой будет, конечно, услышан — я знаю!..
 Вот только б оттаять, пока не вернулась зима..
 Успеть бы оттаять, пока не вернулась зима...

МНЕ БУДЕТ ЖАЛЬ

Мне будет жаль...
 Когда увянет лето,
 Когда уронят яблони плоды,
 Когда по-лисьи подкрадётся осень,
 Мы можем испугаться — я и ты.
 Каким пожаром запыхает время!
 И как ужасны будут крики птиц!..
 Мы разбежимся по своим дорогам,
 В густом дыму не различая лиц.

Мне будет жаль, когда сольются звуки,
Венчаясь с памятью, взвоятся эхом ввысь,
И разомкнутся трепетные руки,
Развеет ветер с губ слетевшее «вернись...»
И допьяна напившись горького заката,
Я побреду наощупь, наугад,
Как неизбежность, обрета расплату,
В избыток осени шагну как в благодать.

Сгорит природа. И успокоенье
К больным вискам моим приложит лёд,
Но как мне будет жаль, когда забвеньё
Лишит всего, едва в меня шагнёт...

* * *

Пейзаж зимы бесцветен и небросок
В оконной раме. Гаснут точки птиц
В белёсых тучах... Делаю набросок
Под скрип хромых декабрьских колесниц,

Ползущих к горизонту обречённо
Сквозь частую узорность голых крон,
Сквозь день, простуженный и полусонный,
Покинувший свой неуютный трон...

Какая заунывная картина!..
Я отложу на время полотно,
Чай заварю из листьев розмарина,
Зашторю чёрно-белое окно,

Укроюсь пледом... И — немного странно —
Вдруг обозначит луч пунктир пути
И силуэт вдали — ещё туманный...
Он ближе, ближе... — знаю, это ты...

И выпорхнут из сна две синих птицы,
И вздрогнет мир, и станет оживать...
Я открываю новую страницу,
Я снова начинаю рисовать...

* * *

Листопад.
Листопад.
Листопад...
В облаках лебедей тает клин.
Объявляет осенний парад
Их прощаньем исполненный гимн.
Листопад, как всегда — невопад.
Неизбежный красив эпилог.
В моей жизни извечен приход твой — не в срок,
Листопад.
Листопад.
Листопад...

Где-то там Королева Любовь
Заблудилась, покинувши трон.
Эхо смеха и трепетных слов
Повторит акварелевый сон.
Он взойдёт в поднебесье, а там
Вместо Бога теперь правит Боль.
Колоколен протяжный заоблачный стон
Обернёт мои тайны в обман.

Этой осени, как никогда,
Выпал в тон мой каштановый взгляд.
Под конвоем древесных солдат
Сквозь октябрь я пойду наугад.
Станет проще, больше, когда
Всё сгорит, как сгорают мосты.
Только — Бог упаси! — не касайся души
Листопад.
Листопад.
Листопад...

Борис ПУКИН БАРАК № 6

Было лето 1962-го. Курт Янис сидел на травянистом склоне над горной рекой и курил трубку, лениво потягивая пиво из бутылки. Начало июня в этой части немецкой Силезии выдалось необычайно жарким. Во всём чувствовалась лень: лениво шевелилась трава, лениво ползли белые облака по светло-голубому небу, кроны деревьев лениво поскрипывали ветвями и шуршали листвой. Птицы попрятались от зноя, дожидаясь заката солнца. Ополоснув лицо и шею тепловатой водой из нагревшейся от жары фляжки, что принесло небольшое облегчение, Курт привалился спиной к дереву и, сдвинув тирольку с пёрышком на нос, задремал...

...Он любил приходиться сюда отдохнуть. Услышав гром взрыва в каменоломне, расположенной в двух километрах отсюда, он посмотрел на часы, легко встал, отряхнул форму и зашагал в сторону трудового лагеря для подростков от десяти до шестнадцати лет. Назывался этот строго секретный объект «Юность», а девиз над воротами гласил «ВЫЖИВАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ». Майор СС Янис был комендантом этого лагеря, персонал которого состоял из двух взводов охраны и эсэсовок, рангом не ниже ефрейтора.

Территория лагеря, раскинувшаяся в горах над быстрой горной рекой и окружённая двойным забором из колючей проволоки под током, представляла собой пятиугольник с вышкой наблюдения на каждом углу и воротами с южной и северной стороны. В этом адском пятиугольнике находились десять барачков для заключённых, на пятьдесят человек каждый, отдельно стоявшая кухня и двухэтажное здание комендатуры с кабинетом Яниса и канцелярией на втором этаже, медицинской частью на первом и подвалом, где проводились какие-то эксперименты. Оттуда, из этого подвала, исходил запах химикатов, а по ночам доносились сдавленные крики заключённых. Дети, выбранные для экспериментов, никогда не возвращались обратно в бараки. Этих ребят живыми

больше никто никогда не видел. За забором, недалеко от южных ворот, выстроились в ряд пять деревянных коттеджей для обслуживающего персонала, казарма охраны и дом, где проживал комендант.

Распорядок дня был распisan по минутам. Подъём в четыре тридцать, завтрак в пять ноль-ноль, работа в каменоломне с шести тридцати до девятнадцати тридцати, обед в двадцать ноль-ноль, отбой в двадцать один тридцать. Выходной день в каждое второе воскресенье месяца. Переключки четыре раза в день. В этом лагере никого не травили в газовых камерах и не сжигали в крематории. Ни того, ни другого в лагере не было. Тела умерших от истощения, погибших в каменоломне и расстрелянных заключённые сами укладывали на телеги и, прокатив этот страшный транспорт между рядов колючей проволоки к северным воротам, сбрасывали в находившийся за забором трёхметровой глубины котлован размером шестьсот на шестьсот метров. Останки заливали гашёной известью, а через два дня насыпали очень толстый слой земли и сверху высаживали кустарник. С высоты птичьего полёта это место выглядело как зона озеленения. Единственная дорога из утрамбованной щебёнки, влившаяся в горной расщелине, подходила к воротам лагеря с юга.

Ни карцера, ни телесных наказаний здесь не существовало, правда, охранники раз-другой могли ударить подростка плетью, но дети принимали это как поощрение. Любое нарушение дисциплины или порядка каралось расстрелом во время вечерней переключки. Приводил в исполнение эту меру наказания только один офицер — Курт Янис. Нарушитель вставал на колени лицом к заключённым, и комендант убивал ребёнка выстрелом в затылок из своего Люгера.

Лагерь этот был создан по личной директиве рейхсфюрера СС Гиммлера с одной единственной целью — вычислить процент выживания мальчиков, занятых на тяжёлых работах в каменоломнях. Существовало ещё одно важное правило, о котором мальчики не знали — дети, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не освобождались от заключения, а переводились в обычный трудовой лагерь. Концлагерь «Юность» существовал уже целый год, но никто из ребят не доживал до шестнадцати лет. Состав заключённых был интернациональным, среди них были евреи и цыгане.

В бараке № 6, стоявшем примерно в середине шеренги деревянных строений, на десятое июня 1943-го проживали тридцать три подростка. Пополнение прибывало в конце каждого месяца, а обед доставлялся в барак из расчёта на пятьдесят душ так, что почти три недели до конца июня подростки будут получать лишнюю пайку. Пища — это сила, которую мальчики теряли с каждым днём всё больше и больше. Население шестого барака почти целиком состояло из украинцев и поляков, было

ещё два чеха, три румына и один еврей. Звали этого мальчика Эмиль, и было ему тринадцать лет. Жил он в этом бараке с января прошлого года. За первый год население Конуры № 6, как его с первого дня прозвали ребята, поменялось полностью, остался в живых только тщедушный маленький Миля. У Рыжика, так его звали ребята за цвет волос, бровей и веснушек, густо усыпавших лицо, были удивительные серые глаза, взгляд которых не выдерживал никто. Милька часто подолгу глядел в небо и что-то тихо шептал, как будто разговаривал с кем-то там, высоко за облаками. Ребята слышали, как одна надзирательница говорила другой, показывая пальцем на Эмиля, что у него на глазах убили всю семью — мать, отца и трёх сестёр.

Обитатели барака № 6 не переставали удивляться, каким образом этот маленький, тщедушный даже по лагерным меркам мальчик, работавший наравне со всеми, всё ещё был жив. Когда его спрашивали, откуда он берёт силы, он поднимал глаза к небу и отвечал: «Оттуда». Ребята только посмеивались — все они давно потеряли веру в Б-га.

Самым близким, по воле судьбы, стал для Мильки поляк Вацек. Был этот паренёк на голову выше всех подростков и, конечно же, сильнее всех, за что комендант лагеря назначил его старостой барака. Он командовал пацанами и наказывал их за мелкие нарушения. Делал он это обычно ударом по зубам, но бил совсем не сильно. Эмиля он называл жидёнышем и регулярно пользовался кулаком как орудием воспитания еврея. Однажды, работая в каменоломне, Вацек допустил смертельную ошибку — таская камни, он, оступившись, подвернул ногу и присел минут на пять переждать, покуда не пройдёт сильная боль. Заметив это, надзирательница приказала ему немедленно продолжить работу, подкрепив свой приказ ударом кнута. Мальчик поднялся и, преодолевая боль, вернулся к своей работе. По возвращении в лагерь Толстая Эльза, так прозвали эту стерву мальчики, доложила коменданту о происшествии. На вечерней переключке майор Янис, как обычно, обходил шеренгу заключённых, построенную перед бараками. Ребята из шестого слышали, как комендант два раза использовал свой люгер у первого барака и ещё один выстрел раздался у барака № 4. У строения номер пять пистолет оставался в кобуре.

Майор медленно подошёл к бараку № 6 и остановился перед строем. Поковыряв носком сапога землю, он вызвал из строя Вацека. Внимательно посмотрел на него и приказал встать на колени лицом к заключённым. Мальчик исполнил приказ и, опустившись на колени, бросил взгляд на Милю, стоявшего прямо напротив коменданта, как бы прощаясь с ним. Рыжик поднял глаза к вечернему, усыпанному звёздами небу, а потом

перевёл взгляд на Яниса и, поймав его взгляд, стал пристально смотреть в глаза эсэсовца. Наступила тишина. Даже ветер поутих, как бы спрятавшись за густыми кустами, что росли за территорией лагеря вдоль колючей проволоки. Глаза всех стоявших на плацу уставились на руку коменданта, в которой он сжимал чёрный люгер, направленный на затылок паренька. Сам же майор не мог понять, что с ним происходит. Вместо того, чтобы нажать курок и проследовать к другому бараку, он стоял как окаменевший и не мог пошевелиться. Взгляд огромных глаз мальчика, стоявшего напротив эсэсовца, сковал его волю и мозг. Это продолжалось не более минуты, но Янису показалось, что прошла вечность. Он неожиданно приказал Вацеку встать в строй, а старостам развести заключённых по баракам. Ребята молча разошлись. Когда принесли обед, к еде в бараке № 6 никто не притронулся.

Миля лежал на верхних нарах и, не мигая, смотрел в потолок. Вацек подошёл к мальчику, лежавшему под местом Рыжика, и попросил его поменяться с ним местами. Разложил свою постель под Милькиным местом, лёг на бок и затих. С того дня никто не слышал от Вацека слово «жидёныш».

Прошёл год. Дети продолжали умирать от обвалов камней в каменоломне и от истощения, но пистолет эсэсовца молчал. Майор Янис замкнулся в себе, перестал с кем-либо общаться, если того не требовала служба, а по вечерам, вместо любимых им произведений Вагнера, из окон его спальни доносилась музыка Баха и Генделя. Ребята из барака № 6 не задавали вопросов, когда видели, как Рыжик после отбоя подходил к окну и долго смотрел то на звёзды, то на дом коменданта лагеря. Всем было ясно, что какая-то невидимая нить связывала мальчика с небом, но задавать ему вопросы никто не решался.

В один промозглый ноябрьский день 1944-го Эмиль неожиданно сказал Вацеку, что в ближайшую субботу он уйдёт из лагеря и предложил пареньку идти с ним. Вацек спросил у Рыжика, как он собирается бежать из зоны и куда, на что Миля ответил:

— Ты мне только скажи: ты идёшь со мной или нет, а об остальном не беспокойся.

Сам не зная почему, Вацек в ответ кивнул головой.

В субботу, в десять часов вечера, когда лагерь затих, Эмиль тихо сказал Вацеку:

— Пошли.

Надев арестантские куртки и полосатые шапочки, напоминавшие ермолки, они выскользнули из барака и направились к южным воротам.

Плац был пуст — только четыре человека охраны и наряд часовых на вышках с прожекторами, лучи которых гуляли по всей территории лагеря. Миля подошёл к охраннику и приказал открыть ворота. Охранник подчинился и распахнул зловещие створки. Беглецы вышли за ограду, а стража, закрыв ворота, продолжала наблюдать за территорией лагеря. Вацек не мог прийти в себя от изумления. Рыжик оглянулся на ворота, и беглецы уверенно направились к дому коменданта.

Входная дверь была не заперта и, открыв её, мальчики вошли в прихожую. Со второго этажа слышалась музыка — это был Бранденбургский концерт Баха. Со словами: «подожди меня здесь» Эмиль поднялся по лестнице и исчез в полутьме. Страх и любопытство заставили Вацека последовать за Рыжиком, но вдруг он остановился, затаившись за не полностью прикрытой дверью, наблюдая за тем, что происходит в спальне. Миля стоял в середине комнаты и пристально смотрел в глаза коменданта, а тот, сидя в кресле с бокалом вина в руке, как замороженный, периодически кивал головой в знак согласия, не в силах оторвать взгляд от огромных глаз мальчика. Всё это продолжалось не более пяти минут, затем паренёк подошёл к майору и, взяв с ночного столика пистолет, что-то прошептал ему на ухо. Яцек услышал только обрывок фразы: «...придёт время, и ты заплатишь за всё».

Покинув дом коменданта, ребята зашагали по дороге на юг...

...Очнулся Курт Янис от чувства, что кто-то пристально на него смотрит. Он встал, обернулся и увидел мужчину среднего роста с лысеющей головой и седеющими висками. На вид ему было лет тридцать, тридцать пять. Курт взгляделся в лицо незнакомца, чувствуя, что где-то его видел. Но где? А человек медленно подошёл к Курту, пожевал губами и спросил:

— Ты помнишь, что я сказал тебе в ту ноябрьскую ночь сорок четвёртого? Если нет, я напомню. А сказал я тебе, что война скоро кончится и, если ты останешься жив, в чём я почти уверен, ты заплатишь за всё! — Эмиль осмотрелся вокруг, подумал о чём-то и продолжил:

— Вот что ещё я хочу тебе сказать. Там, в лагере, я был Ангелом Жизни, спасая всех, кого только мог, а сейчас — я Ангел Смерти. Семь долгих лет я потратил на то, чтобы найти тебя. Исколесил всю Европу и, узнав, что ты поменял имя и работаешь школьным учителем химии, в конце концов нашёл тебя здесь, чего меньше всего ожидал. — Снова пожевав губами, Рыжик достал из кармана чёрный люгер:

— Помнишь эту вещицу? Можешь быть спокоен, я позаботился о твоём пистолете, он работает безотказно так же, как двадцать лет назад. Я проверил на Толстой Эльзе. — По спине коменданта струился холодный пот.

Нина ДАНИЛЕВСКАЯ ШУШИКА

Развалин страж полуживой...

— **П**рости, ты красивый и... трогательный, но я правда, правда совершенно равнодушна к этому.

Она встряхивала головой, чтоб поглубже уйти под чёрную стрижку-шапочку. Тогда можно было убедить себя, что никто не видит её покрасневших щёк и скошенных вбок серых глаз с тёмным ободком вокруг радужки.

Когда-то она даже пробовала ходить со значком «No sex», но скоро заметила, что магия этого слова гораздо сильнее отрицания. Значок, задуманный, чтобы остудить интерес, подстёгивал любопытство. Он без прелюдий отправлял разговор в указанном направлении, встречные улыбались, довольные поводом разрушить барьеры стыдливости, подступали с вопросами: «Но почему?», «Ты больна?», «Ты лесбиянка?». Она вертела головой, занавешиваясь волосами, а им казалось, что их намеренно провоцируют. И тогда звали её играть в пинг-понг или в кафе, или просто прошвырнуться по городу, а когда наступал момент решительного отпора, чувствовали себя обманутыми. «Эффект монашки», — с досадой уразумела она и выбросила значок.

Она любила общаться. Любила знакомиться с новыми людьми, втираться в компании. Она умела вдохнуть в них свежую жизнь. «Где эта Мирей Матье?» — спрашивали потом её новые приятели. Она чувствовала своё воздействие, и оно её воодушевляло. Для неё это было как любовь. Она питалась этими токами, а окружающим нравилось питать. Жаль только, многим этого было недостаточно. Ей же вполне: когда кто-то подбирался к ней слишком близко, казалось, что она каменеет, — это был словно вывернутый наизнанку эффект Галатеи.

«Нечестно устроен мир, — думала она. — Почему я не имею права поселиться просто так? Почему всегда кончается тем, что кто-то выстав-

ляет мне счёт? Какие знаки я подаю? Как поймать роковой момент? Что именно с моей стороны они принимают за обещание?»

У неё рос целый перечень этих моментов, каждый из которых всё ниже пригибал к земле её и без того покатые плечи. «Нельзя ходить в кино», — кисло постигла она. Жаль, она любила кино. Любила потом посидеть в кафе, обсудить фильм, соревнуясь с визави в смелости интерпретаций. Собственно, именно этим и объяснялся выбор визави: ей нравилась интеллектуальная бойкость, изобретательность. Он, например, говорил: «Титаник — это душа человека, айсберг — чувство вины». Она подхватывала: «Кейт чувствует вину за то, что сломала семейные установки». Либо, наоборот, оспаривала: «Нет, Титаник — это жизнь, путешествие — всегда жизнь». — «Тогда айсберг — это жизненный опыт». — «Кейт и Лео — две стороны нашей личности, — задумчиво прозревала она, скашивая вбок свои серые глаза с ободком. — Чтобы выжить, мы должны утопить в себе Лео». «Ну можно, — отвечал тогда визави. — Катастрофа взросления. Надо как-то учиться делать это без жертв». — «Без трагедии не получится. Чтобы опыт усвоился, нужна боль. Лео должен умереть». Что могло быть увлекательнее? Но то, что для неё было самоцелью, для него, как выяснялось, было *обещанием*.

— Нельзя даже кататься на роликах! — жаловалась она подруге.

— Можно, — отвечала та. — Но не вдвоём. Зови меня. Я не боюсь последствий. Мне нужны отношения.

— А ты повесь на футболку значок «No sex».

* * *

Шушика делала шляпы. Это было её хобби — образование, по семейной традиции, она получила естественно-научное. Однако со временем, как это часто бывает в подобных случаях, хобби стало доминировать над невнятной профессией. Она оставила преподавание и с облегчением выкинула из головы бремя не слишком увлекательных знаний. Как иронизировал папа, сам прикипевший к науке всем сердцем: «Тому, что внутри головы, она предпочла то, что снаружи». Это он придумал ей прозвище Шушика, чтобы облегчить жизнь среди Саш — поветрия века: Сашей был его отец, племянник, он сам и его жена (супругов для облегчения коммуникации называли Саша-он и Саша-она).

Шушика жила с родителями в одной из тех старых московских квартир, из поколения в поколение переходящих по наследству, где царствует беспорядок, громоздкая мебель, распираемая вещами, и вечные гости. Стопки книг, расставленных здесь и там, сами служили полками, лавками и опорами под прогнувшиеся кровати. Шушика жила в углу

большой комнаты, который был отгорожен двумя шкафами, поставленными буквой «Г». Он назывался «клаустрофоном» — это слово она слышала с детства, ей долго не приходило в голову, что наравне с её прозвищем это не общепринятое именование, а семейный фольклор.

В клаустрофоне умещались кровать, стул, вечно завешенный одеждой, а также прилаженный к стене длинный стол — со швейной машинкой, парогенератором, утюжками, деревянными болванками, манекенами в виде безлицых голов и прочими хитрыми орудиями её ремесла. На глубоком подоконнике, помимо фетровых заготовок и металлических подставок под шляпы, на зеленоватой стопке Анатоля Франса жил пыльный алоэ-инвалид с ампутированными лапками: считалось, что его горький, как дьявол, сок лечит насморк. Она аккуратно, чтоб не забрызгать свои готовые творения, поливала из бутылки его пахнувший размоченной штукатуркой закаменевший грунт с промытой ямкой и протискивалась между ним и шкафом, придвинутым торцом к окну ровно настолько, чтобы смочь выйти из клаустрофона. Снаружи оставался узкий проход, служивший нуждам семьи: он вёл к двери балкона, где домочадцы сушили бельё.

Родители были рыцарями науки, с утра до вечера пропадавшими по своим институтам: мама — зоологическому, папа — биохимическому. Домой обычно приползали ночевать только для того, чтоб с утра вновь вырваться на свободу — к возлюбленным своим электрофорезам и си-квенсам. Зато в доме вокруг овального кухонного стола проводились подпольные семинары и лекции — благо не успевших уехать полупризнанных гениев, гонимых официальной наукой, снова было хоть отбавляй. Иным из них не на что становилось жить, и семья предоставляла им аудиторию, куда охотно приходили их же бывшие студенты за символическую плату, которая обозначалась в сарафанных анонсах как «вход — шляпа». В действительности, конечно, никакой шляпы не фигурировало (хотя Шушика предлагала), «шляпа» была виртуальная — перевод по телефонному номеру. В плохие дни число студентов не превышало числа табуреток, в хорошие же сидели на принесённых из комнаты стульях, на диванчике, подоконниках, подлокотниках, стопках книг; на полу, прислонившись к стенам; стояли в дверях и проходе, на весу фиксируя урывками что-то в своих тетрадах. По всеобщему молчаливому соглашению, Шушике дозволено было тихо протискиваться между ними, включать электрический чайник и, замерев в углу, немножко стесняясь его шума, ждать кипятка. Спрятавшись под чёрную чёлку, она придирчиво рассматривала затылки студентов, мысленно сопоставляя их со своими твидовыми фантазиями; оценивая примеривалась к умудрённой седине профессора, вдохнов-

ляясь на цилиндр, федору или котелок. По окончании лекции большинство студентов разъезжалось по домам, а профессор, пошуршав каким-нибудь пакетиком с пряниками, оставался на чай, нередко с кем-нибудь из самых верных. Тогда голоса приглушались, лица мрачнели, научные темы сменялись политикой — всё было как в семейных преданиях, только вместо слова «усатый», теперь звучало хлёсткое «людоед». (Оба Саши — и он, и она — были Болотными топтунами, пикетчиками, крикунами Манежки, стоятелями свобод русских.)

Как-то она сблизилась с посетителем вторничных лекций. Тот засиделся до часу, хотел было вызвать такси, но Шушика, пожалев его кошелек, оставила гостя в клаустрофоне, сама же — обычная практика — переночевала у родителей на полу. Он был геологом из Дубны, аспирантом профессора кристаллографии, «потерпевшего по службе за правду». Аспирант писал кандидатскую в промежутках между сумасшедшими экспедициями — подвигами, по мнению Шушики никак не вязавшимися с его физической миниатюрностью. Его звали Гога. Он был действительно невысок, худ и хрупок как девушка. У него были тонкие, доставшиеся от бабушки-армянки черты и её же продолговатые глаза, чёрные, как обсидианы Артенийского склона. Голос его был тих, движения неторопливы, спокойны и полны того ненавязчивого достоинства, которое бывает у любимцев семьи. Он, как и Шушика, был единственным ребёнком учёных, только в отличие от неё погрузился в свою кристаллографию с полной страстью. «Будешь добывать сапфиры для моих шляпок», — сказала Шушика уже на третий вторник. Они в этот вечер бродили по набережной, Шушика, забыв об опасности, предложила пойти в кино, потом зазвала на ужин, потом они болтали в клаустрофоне, он отмахивался от её попыток натянуть на него канотье или кепи, вместе с тем дивясь премудростям её эстетского ремесла. Потом она достала из-под подушки свою ночную футболку и собралась к родителям на матрас, а он поймал её за руку. Тогда-то она и сказала ту фразу: «Прости, ты красивый и... трогательный, но я правда, правда совершенно равнодушна к этому».

Гога был невероятно разумен: он был не из тех, что не вольны в прекрасных порывах, которые на деле часто оказываются совсем не прекрасными. Он был невиданно чуток к той грани, за которой начинается принуждение. Не то чтобы он расчётливо, что называется, *не хотел всё испортить*. Он просто терпеть не мог давить, ненавидел требовать, умел ждать и ценить то, что есть. И уж, боже упаси, не вёл и в мыслях счёт никаким миражным обещаниям. «Понимаю. Хорошо», — только и сказал он, предварительно всё же погладив своей маленькой смуглой рукой её белую. Это её не раздражало.

* * *

Весной она поехала с ним в экспедицию.

Трое суток на поезде, потом автобус, потом попутный грузовичок, дальше провожатый с лошадей, навьюченной их вещами, и наконец пешком, пешком, с ночёвками — в сердце Тянь-Шаня. Суровые подъёмы в гору, еда на костре, двухместная палаточка, рыжим фонарём горящая в черноте, и полное безлюдье. Гога сверялся с картой, смотрел на компас: целью его был стремительный горный ручей под названием Чет-Нур. По сведениям, вычитанным из дневников каких-то советских походников, на одном из его скалистых берегов в результате обвала породы обнажился фрагмент кварцевой жилы, в котором были замечены тёмно-фиолетовые вкрапления. По описаниям, они находились где-то посередине обрыва и были недоступны без специального снаряжения. Из-за сложности рельефа и отсутствия близкой дороги промышленный интерес месторождение не вызывало, но служило точкой притяжения отдельных геологов. Гога, пламенный любитель камней, ездил сюда уже несколько раз. Даже нашёл похожий разлом, но до аметистовой зоны своей киркою так и не достучался: либо случился вторичный обвал, либо это было другое место. Он планировал пройти с Шушикой дальше к верховьям ручья и проверить свежие осыпи. Шушика стоически переносила дискомфорт и тяготы экспедиционного быта, шагала за ним с двадцатикилограммовым рюкзаком за плечами и с алчностью грибника осматривала склоны, заразившись аметистовой лихорадкой.

Они шли и шли уже третий день вверх по ручью, скалистые берега которого порой превращались в каньоны — тогда надо было залезать наверх, обходить завалы, искать звериные тропы. Иногда обходы так далеко уводили их от ручья, что Гога переставал слышать его журчание. Приходилось возвращаться, продираясь сквозь заросли можжевельника: без воды они не могли приготовить ужин. Каждые полчаса Гога устраивал привалы, потому что покатые плечи Шушики не созданы были для рюкзаков, хоть и становившихся с каждой едой всё легче, но всё так же невыносимо тянувших к земле. Гоге даже не стоило смотреть на часы. Он знал, что, когда Шушике становится неважно, она начинает петь. «Н-не-т, ни пурпурный руби-ин, ни аметист лиловый...» — узнавал он мелодию, прорывавшуюся сквозь тяжёлое дыхание, останавливался, снимал рюкзак и садился на него верхом.

— Не пой, — советовал он вкрадчивым голосом. — Только сбиваешь дыхание.

— Зато перестаю думать о плечах.

Марк ВЕЙЦМАН
С ВЫСОТЫ ВЫСОКИХ ТАТР

* * *

За эти давние дела
Не знаешь и журить кого.
Моя любимая жила
На улице Урицкого,
Кто, допустивши перегиб
В игре похлеще бисера,
Негероически погиб
От пули Каннегисера.

Тот двор обилен был людьми
И всяческими тварями.
Дымила печка посреди,
В сараях рыбу вялили.

Демократический сортир
Торчал меж огородами,
Непререкаемый, как мир
И дружба меж народами.

И было радостней стареть
Рабочим и чиновникам
В пространстве, занятом на треть
Малиной и крыжовником.

И рог Амура был слышней
Студентам вузов профильных,
Правопреемникам семей
Владельцев гряд картофельных...

Теперь, когда моя свеча
Чадит и оплавляется,
Не реет знамя Ильича
И сталь не закаляется,

Всё это, ставшее трухой,
Мне ТОТ, КТО НАС КУРИРУЕТ,
Сопровождая на покой,
Повторно демонстрирует.

И на прямом пути к блесне,
Не ведая окольного,
Урицкий в сбившемся пенсне
Взбегает к лифту Смольного.

* * *

С высоты Высоких Татр
Вижу наш дворовый театр,
Где, накинув пелерины,
Пожилые балерины
Исполняют па-де-катр,
А Отрощенко-фирмач,
Деловитый, как палач,
Под скулёж стального блока
На дубовый сук флагштока
Вздёрнуть силится кумач.

И беседку под сосной,
Где предсмертную весной
Возжелала Копылова,
Чтобы улица Свердлова
Стала снова Прорезной.

С этой жуткой высоты
Различаешься и ты
У днепровского откоса,
Молода, простоволоса,
Гений чистой красоты.

Понапрасну слёз не лей,
Одевайся потеплей,
Чтоб, взойдя по серпантину,
Втиснуть нашу бригантину
В строй небесных кораблей.

Ибо вновь меня пурга
Принимает за врага,
И уже позёмка свищет,
И нога опоры ищет,
И не видно ни фи́га...

* * *

Когда я на почте служил ямщиком,
Деля с лошадьми порционный овёс,
Я с Карлом и Фридрихом не был знаком:
Меня занимал лишь «еврейский вопрос».

И если порой убывал за бугор
Ловить канареек в районе Канар,
Девиц-неевреек не видел в упор —
Меня привлекала лишь Сара Бернар.

И что же в итоге, Express и WhatsApp?
Зовутся потомки Жорес и Остап,
Кирилл и Мефодий, Генах и Тантал.
Лишь Мендель Нимроди Менахемом стал.

Он докером служит в Ашдодском порту,
О шокере вчуже лелеет мечту
И смотрит по ящику всякую гнусь,
Однако не чаще, чем я ему снюсь,
И он моей тройке вослед, прохиндей,
Горланит: «Ямщик, не гони лошадей!»

* * *

Говорили деды:
«Обходи преграды,
Выполняй заветы,
Береги снаряды,
Не считай потери,
Не носи награды,
Не стучись в те двери,
Где тебе не рады».

Помню их талиты,
Взгляды и повадки,
Споры и молитвы,
Штопки и закладки,
Шаткие калитки,
Лёгкий запах тлена,
Тщетные попытки
Вырваться из плена.

Как — не тормозили,
Но не поспешали,
Пеней не просили,
«Мнений» не внушали,
Счастья не сулили,
Молча глядя вслед нам.
А того, что скрыли,
Видно, знать не след нам.

ПРИЗНАНИЕ

Ни на Эрцог, ни на Белуху
Уже, браток, не хватит духу.

Ушла в песок былая сказка:
Мой альпеншток уже указка,

И карта горного Алтая
Висит, покорно выцветая.

Семён РЕЗНИК

Я ИХ УВИЖУ ВТРОЁМ

Из НЕНАПИСАННОГО РОМАНА «ВЫЗОВ»

Роман под условным названием «Вызов» я начал писать в 1982 году — после острой борьбы за получение вызова (приглашения) из Израиля, без чего нельзя было подать заявление в ОВИР на выезд из страны.

Был такой период в истории третьей (еврейской) эмиграции из Советского Союза, когда почта перестала доставлять вызовы из Израиля.

Пользуюсь случаем помянуть добрым словом моего друга Володю Юсина — тогда уже многолетнего отказника. Изучив Международную почтовую конвенцию, а также все внутренние советские законы, касающиеся работы почты, В. Юсин разработал методику борьбы с Почтовой администрацией за доставку незаконно изымаемых почтовых отправок. Володя обучил меня этой методике, privately руководил нашими с Риммой действиями, благодаря чему мы добились получения вызова.

Мы знали, что несколько человек, которые при помощи В. Юсина добились того же раньше нас, после подачи заявлений на выезд рутинно получали отказы. Мы внутренне готовились к тому же.

Тогда и возник у меня замысел романа «Вызов».

Главным героем должен был стать московский еврей моего поколения, «дозревший» до желания вырваться из советского рая. Сюжетом романа должна была стать борьба главного героя за получение вызова, изъятого Почтовой администрацией, а для самого героя — обычного московского интеллигента тех лет — борьба за получение почтового отправления должна была стать **Вызовом** системе, сложившемуся укладу жизни, своему собственному приспособленчеству, в конечном счёте — Вызовом самому себе.

Получив Вызов и подав все требовавшиеся документы в ОВИР, я засел за роман, полагая, что времени для его написания у меня впереди вполне достаточно. Однако месяца через два нам дали знать,

что наш вопрос решён положительно. Следовало лишь собрать некоторые дополнительные справки и явиться за выездными визами. Когда сделали всё, что требовалось, и пришли в ОВИР, нам вместо выездных виз показали кукиш. На их языке это значило, что наше дело «направлено на пересмотр».

Пришлось начать ещё один раунд борьбы, теперь уже с ОВИРом. В ней нам очень помог предшествовавший опыт борьбы с Почтовой администрацией.

Завершением двух раундов стало два следствия: хорошее и плохое.

Хорошее состояло в том, что в августе 1982 года мы смогли покинуть социалистический рай. Плохим следствием стало то, что к работе над романом «Вызов», которая была только начата, я уже не вернулся...

Вступительная глава в виде рассказа «Старый-еврей-из-табачного-киоска» напечатана в журнале «Времена» (2021, № 3 (19), стр. 153–167).

А на днях я обнаружил в своём неразобранном архиве ещё одну главу из ненаписанного романа. Она посвящена детским и юношеским годам главного героя. Итак:

Я ИХ УВИЖУ ВТРОЁМ!

Газета выскользнула из дрожащих маминых рук, она пошатнулась и опустилась на табурет. Произнесла испуганным шёпотом:

— Теперь будут погромы...

Я подхватил газету и прочитал о заговоре врачей-убийц.

— Всюду они лезут, эти евреи,— шептала мама, и две прозрачные струйки текли по её побелевшим щекам.— Мало нам достаётся, так им ещё надо отравить Сталина. Теперь будут погромы. Только ты об этом никому не говори...

Ей надо было на работу. Она поднялась с табурета, вытерла слёзы; непослушные руки долго не могли попасть в рукава её вытертой, как облезлая кошка, меховой шубы — весь её «формейг»,¹ как она говорила, уцелевший с довоенных времён.

В тот день во дворе на меня набросились сразу все: и Юрка Татаринцев по прозвищу Татарин, и Толька Кириллов (Старлей), и вся вшивая мелюзга. Впервые были поправлены неписанные законы дворовой чести, по

¹ Богатство (*идиш*).

которым «стыкаться» полагалось один-на-один. Они зажали меня в угол между сараями. Я прикрывал лицо руками, а удары в грудь не были сильными: от них защищало подбитое ватой пальто. Главное было не упасть, и я не упал. Но мне, конечно, здорово досталось. Выручить меня мог только Витька Петряев, он и выручил.

— Что же вы все на одного? — спросил он, подходя. — Это у нас не годится.

— А Сталина отравлять годится!? — задохнулся разъярённый от злости Старлей, и на его длинной, не прикрытой шарфом шее вздулась синяя жилка.

— Он что ли отравлял? — спокойно возразил Витька. — Айда лучше в войну!..

Они убежали играть в войну, а я поплёлся домой, сплёвывая кровь.

В школе меня не трогали. Может, и хотели тронуть, но боялись Фитиля. Был у нас такой переросток, дважды остававшийся на второй год и дотягивавший кое-как десятый класс — вечная тема обсуждений на педсовете.

Фитиль принципиально ничему не учился, неторопливо дерзил учителям на уроках, но чаще просто прогуливал. Для мальчишек он был кумиром, потому что никого не боялся, легко побеждал в драках и во всех видах спорта — не только в школе, но и в районе. По утрам он выходил на улицу раздетый до пояса, выносил ведро холодной воды и просил первого встречного вылить воду ему на спину. Эта процедура повторялась ежедневно, даже тогда, когда из-за сильных морозов в школе отменяли занятия.

Приземистый, вопреки прозвищу, с шарами мышц, перекачавшимися под тонкой кожей, с крепкой конусообразной шеей борца, на которой, как приклеенная, сидела маленькая, наголо остриженная голова с длинным, изогнутым во всех трёх плоскостях носом, он одним своим видом внушал почтение. Я, конечно, был для него мелюзгой, он вряд ли вообще замечал меня, хотя однажды по дороге в школу и мне пришлось окатить его из ведра.

На следующий день после сообщения о деле врачей Фитиля подстерегли четверо его одноклассников. Они хорошо подготовились. У одного в кулаке была зажата свинчатка, у другого на руку был намотан ремень, и он орудовал пряжкой, а ещё двое вооружились палками... Фитиль вышел из боя без двух зубов, с рассечённой губой и большой ссадиной под правым глазом. Зато враги его позорно бежали. То есть бежали двое: другие двое остались лежать на месте, одного даже увезла «Скорая».

А на следующее утро посреди урока в нашем классе вдруг с шумом распахнулась дверь, и в проёме возникла приземистая, на чуть подо-

гнутых коротких ногах, фигура Фитиля. Два неровных пластырных лоскута — один на губе, другой под заплывшим глазом — делали страшным его и без того некрасивое, перечёркнутое изломанной линией носа лицо. Длинные руки свешивались ниже колен и придавали всему облику что-то обезьянье.

— Ну вы, мерзавцы! — прокричал Фитиль, не обращая внимания на опешившую, но так и не успевшую возмутиться географичку. — Есть тут у вас евреи? Так запомните, что я вам говорю! Кто пальцем тронет еврея, будет нюхать вот это! — и он выставил вперёд свой неожиданно маленький, но тяжёлый, как спортивное ядро, кулак.

Потом мы узнали, что таким образом он прошёл по всем этажам и по всем классам школы.

После уроков Старлей увязался идти со мной вместе домой. Я шёл молча, не желая его замечать. Он забегал то справа, то слева, что-то говорил, совал мне сигарету... Во мне только сильнее закипала злоба. В конце концов я остановился и спокойно сказал:

— А я не знал, что ты такой говнюк. Ну-ка отвали, а то и впрямь всё расскажу Фитилю.

В школе я был защищён, словно меня пропитали пуленепробиваемым составом. А на улице я старался бывать как можно реже, и увязывался, как малыш, за мамой, если она отправлялась к каким-нибудь родственникам в другой конец города, или оставался дома, когда кто-либо приходил к нам.

Евреи были напуганы и говорили шёпотом.

— В газетах будет письмо видных евреев, — шептали евреи, — о том, что мы хотим искупить вину врачей-убийц. После этого всех погрузят в теплушки и отправят...

Что значит «теплушки», что значит «погрузят», — это я плохо понимал. Но по испуганным лицам взрослых было видно, что это что-то страшное.

Теперь я отчётливо представляю, как бы это произошло. Я представляю себе врывающихся солдат, плачущих детей, бестолково суетящихся взрослых, пытающихся увязать в узлы громоздкие подушки и, полуодетыми, под любопытные, а то и злорадные взгляды соседей, выбрасываемых из домов. Я представляю себе конвойных, вталкивающих нас в переполненные вагоны — всех в одну кучу: женщин, стариков, детей, инвалидов, больных, снятых прямо с постелей. Представляю себе тянущиеся неделями по бескрайним просторам матушки-России эшелоны, в которых нет воды, нет лекарств и уборных. Где поминутно вспыхивают ссоры, начинаются

эпидемии, и кучки трупов, снятых с предыдущих составов, словно особые верстовые знаки, грудятся у железнодорожной насыпи.

Теперь я представляю всё это, тогда же не представлял и лишь с обострённым вниманием прислушивался к разговорам.

То шёпотом, то вполголоса, а то и на крик евреи обсуждали своё положение. И чаще всего повторяли одно и то же имя, произносимое с таинственной многозначительностью и с ударением на первом слоге: **Эренбург**.

— А я вам говорю, что ничего не будет, — вкрадчиво объяснял маме дядя Рувим, приятель моего пропавшего отца, работавший где-то бухгалтером.

Дядя Рувим приходил к нам по вторникам раз в две недели. Какой-то весь съёженный, жалкий, в затёртом костюмчике и сдвинутом вбок галстуке, он робко притуливался на краешке стула и принимался прихлёбывать чай из тонкого стакана, который бережно обнимал обеими ладонями, точно стараясь согреть о него свои красные, с искалеченными пальцами, руки. Хрупая мелко откусываемыми кусочками сахара, он выпивал за вечер ровно шестнадцать стаканов чая. Это была его норма. Приняв её, он ставил пустой стакан в блюдце вверх дном, откидывался на спинку стула с видом человека, честно выполнившего трудную работу, и как-то неожиданно повеселев, заявлял:

— Всё! Больше не просите! Шестнадцать стаканов — моя норма!

Вскоре после этого он прощался и, пошаркав галошами, уходил.

— Вот увидите, ничего не будет, вкрадчиво говорил он маме, прихлёбывая чай из тонкого стакана, не видимого за его красными, словно гусиные лапы, руками. — Вы спросите — почему? Я вам отвечу. Потому что у нас есть **Эренбург**! Он борется за мир во всём мире. Сталин любит **Эренбурга**. **Эренбург** ему объяснит, что, если вышлют евреев, он не сможет бороться за мир.

— **Эренбург**!? — возмущался на следующий день дядя Гриша, дальний родственник мамы, который приходил к нам раз в неделю по средам и весь вечер мрачно работал челюстями и огромным, как клюв хищной птицы, кадыком.

Он был высок, худ и прям как жердь, и очень гордился своим аккуратизмом. Брюки у него были неизменно отглажены, ботинки надраены до блеска. Он охотно объяснял, что утром, отправляясь на работу — он был инженером на строительстве высотных зданий, — всегда пристёгивает к рубашке свежий накрахмаленный воротничок, а если вечером собирается в театр (он был завзятым театралом) или в гости, как,

Давид ГАЙ

СРЕДЬ КРУГОВРАЩЕНИЯ ЗЕМНОГО...

ГЛАВА ИЗ СЕМЕЙНОЙ САГИ

Книга эта — для серьёзного, вдумчивого, подготовленного читателя, ищущего в литературе не лёгкого чтения, не пустой развлекательности, а совсем иного. Роман «Среди круговращения земного...» на протяжении более чем века описывает перипетии жизни людей, связанных родственными узами, носящих одну фамилию. Это — семейная сага. Более ста лет назад один из сыновей большой семьи эмигрировал в Америку. Так у семейного древа образовались две ветви — российская и американская. Повествование идёт в двух плоскостях, самое важное в нём — судеб скрещенье, причудливое и непредсказуемое.

Книга Давида Гая вышла в свет в 2009 году в московском издательстве «Знак» и сразу завоевала большую читательскую аудиторию как в России, так и в Америке. Подчеркнём: это не мемуар, не историческое исследование, это художественная проза в чистом виде. Героев романа, философски-насыщенного и одновременно остросюжетного, не миновали бури 20-го столетия, и любопытно проследить, как удаётся им выстоять, зачастую в неравной борьбе, с неизбежными потерями.

Словно в многосерийный телевизионный сериал, читатель входит в обширную галерею оригинальных, ярко выписанных образов действующих лиц, неотрывно следит за всеми поступками и конфликтами героев романа, их спорами и столкновениями, душевными порывами и размышлениями, за изменениями в их жизни — и желаемыми, и вынужденными.

Тираж саги давно разошёлся, появилась необходимость переиздать её в электронном варианте в новой редакции, что и сделано сейчас в США усилиями бостонского издательства M•Graphics.

Приобрести электронную версию книги можно по ссылке:
<https://mgraphics-books.com/product/midst-whirl-world-ebook/>

1920-Й, СЕНТЯБРЬ

Утро четверга обернулось для Рувима деловой поездкой в Гарлем. Стояла середина первого месяца осени — в отличие от весны, в Нью-Йорке обычно долгой, иногда до декабря. Клёны и дубы ещё не обмакнулись в охру, воздух был паутинно-прозрачный, термометр показывал 63 по Фаренгейту, обещая к полудню доползти до семидесяти. Проезжая мимо Центрального парка, Рувим сбавил скорость, привлечённый гомоном птиц. Птицы прятались в купах близких к проезжей части деревьев и выводили дивные рулады, словно имели особый повод для радости. Повод был неведом Рувиму, но скорость «жестянки Лиззи» он всё равно сбавил. «Форд Т» он удачно купил три года назад с рук всего за две с половиной сотни.

Клиент, вознамерившийся купить жильё, попался дотошный, полагал, что разбирается в особенностях купли-продажи, неоднократно подчёркивал в долгом нудном разговоре: его не объегорить. Рувим улыбался, терпеливо объяснял тонкости сделки, поглаживая рыжие усы — так он обычно делал, стараясь успокоиться и не дать понять очередному клиенту, надувавшему щёки польскому еврею, приземистому, бочкообразному, но весьма подвижному господину, что тот мало смыслит в деле, о котором судит с таким апломбом. Профессия Рувима имела немало преимуществ, однако по степени выматывания нервов мало с какой другой могла быть сравнима.

Квартира на 125-й улице была прелесть: три спальни, кухня с окном, высокие потолки. Такие нынче редко попадают, купля-продажа жилья идёт еле-еле, застой налицо. Открыв своим ключом входную дверь, Рувим водил покупателя из комнаты в комнату, демонстрируя достоинства жилья, пахнущего свежим ремонтом, а бочкообразный, размахивая короткопалыми руками с мясистыми, в чёрном волосе, пальцами, пытался сбить цену, торгуясь за каждый доллар. В конце концов сошлись на двадцати тысячах и первом взносе четыре тысячи. Рувим пригласил его приехать в офис и подписать нужные бумаги для оформления банковского займа под шесть процентов.

В самом конце, когда обо всём договорились, бочкообразный вдруг заявил, что хочет ещё раз подумать. Рувим внутри себя чертыхнулся, потрогал усы и с улыбкой заметил: это сокровенное право клиента.

Его ничего не удивило, он ко всему был готов: покупающие первое жильё всегда нервничают, не уверены в себе, постоянно им мерещатся несуществующие страхи и обман. Интуиция подсказывала — бочкообразный никуда не денется, всё равно купит.

Из Гарлема он двинулся в Бронкс, где его ждал ещё один возможный покупатель, итальянец, хозяин пекарни. Рувима рекомендовал ему Яков. После странной женитьбы шурина на итальянке общались они нечасто, а тут неожиданно вспомнил, дал заработать. Доброе дело родственничку зачтётся... Итальянец почему-то искал дом не в Бруклине, где предпочитали селиться его соплеменники. Впрочем, какое мне дело до этого... С ним на удивление проблем не возникло: с третьей попытки выбрал одноэтажный дом с большим задним двором. Утро не пропало зря.

Довольный собой, Рувим к полудню возвращался в Манхэттен. Решил заехать домой перекусить, а после — в контору, разбираться с бумагами.

Почему-то опять вспомнился Яков. Последний раз случайно встретились в том же Бронксе, повели детей в зоопарк и наткнулись на семейство Якова. Адриана, чуть располневшая, но такая же яркая, притягивающая мужские взгляды, буквально кинулась на шею Эстер, со стороны понаблюдать — будто сёстры или лучшие подруги, расцеловалась с Рувимом, словом, само радушие; Яков посдержаннее, обнялись, но без всяких там сантиментов. Зато Велвел сразу бросился к Миранде, разница у них в год, считай, ровесники, начали носиться как угорелые. Миранда — черноволосая, в мать, с розовым бутоном в волосах, розовом платице и туфельках с золотой пряжкой, ну просто прелесть, смахивает на еврейку, только вот крестик на шее.

— Как живёшь? — Яков отстал от женщин, они шли вдвоём по тропинке, ведущей к вольерам с хищниками.

— Всё в порядке. А как у тебя?

— Замечательно. Иду в ногу с новыми веяниями.

— Что ты имеешь в виду?

— Не догадываешься? Чем сейчас умные, предприимчивые люди занимаются?

— Не знаю. Мало ли чем.

— Ну, раз не знаешь... Тогда и разговора нет.

Шли молча, Яков жевал травинку, его распирало от самодовольства. Жизнь, кажется, ему и впрямь улыбалась. В костюме ярко-лимонного цвета он напоминал диковинную заморскую птицу, гордящуюся своим оперением.

— Не желаешь заняться бутлегерством? — не вытерпев, вернулся к волновавшей его теме. — Сумасшедшие деньги.

— Знаешь, я с законом в игры не играю.

— С законом?! — Яков поперхнулся. — Ты что, в самом деле думаешь, что копы борются с подпольными кабаками? Как-то я с приятелем попал в Квинс, в совершенно незнакомый район. Захотели погреться,

я к первому встречному полицейскому: «Скажи, дружище, где тут отыскать выпивку?» Так он нас до запретной двери проводил. А может, ты из общества трезвости? Как евангелист Билл Сандей, помнишь, в газетах писали. Специальным поездом доставили гроб, в котором лежало ячменное зёрнышко, преподобный спектакль устроил с похоронами: «Прощай, Джон! Ты был худшим врагом господи и лучшим другом дьявола. Я ненавижу тебя чистой искренней ненавистью!» А также пообещал: «Царству слёз пришёл конец. Трущобы скоро останутся лишь воспоминанием. Мы обратим тюрьмы в фабрики и доверху наполним закрома!» Не знаю, как насчёт закромов, а наши карманы сухой закон весьма пополняет...

— Я тоже кое-что вижу. В ресторанах в бульон наливают спиртное из фляжек, хлещут «джейк», эту дрянь, от которой слепнут, в аптеках по рецептам берут скотч, «настоящий Маккой», из Шотландии нелегально доставленный: и какой умник дал распоряжение виски продавать в аптеках...; коктейли разбавляют водой подкрашенной, чтобы вкус алкоголя приглушить на случай облавы... Всё это не по мне, я хочу спокойно спать.

— Был и остался чистоплюем, — Яков начал заводиться. — Богатство само в карман лезет, а он бежит от него, как чёрт от ладана. Я держу два «спикизи», развлекаю народ, танцульки, варьете, у меня полный порядок, подаю бурбон в чайных чашках, нагрянет полиция — дам в лапу и баста. Да копы за тем и идут, чтобы мзду получить, а не арестовывать. Арестовывают дураков или жадин, кто мало даёт. Нормальные люди процветают.

Так и поговорили — опять разозлился Яков. Занимался бы своим делом и не вовлекал других, никто же его не осуждает, хочешь жить по своим понятиям — живи; нет, он должен убедить, что его путь — единственно верный, а те, кто ему не следует, достойны сожаления. Видно, не очень сам верит в праведность своих занятий, потому и комплекс выработался. Странный человек.

...Приближался полдень. Рувим с трудом пробирался по нижнему Манхэттену, то и дело манипулируя рычажком под рулевой колонкой, служившим педалью газа. Район Уолл-стрит вскипал людскими потоками: биржевые маклеры, клерки, секретарши, посыльные спешили на ланч; не уместаясь на тротуарах, выходили на проезжую часть. А тут ещё повозка, запряжённая каурой лошадей. Повозка, крытая дерюжкой, неторопливо двигалась по улице и, наконец, остановилась напротив здания под номером 23, где размещался банк Моргана. Рувим, понав-

ший в «пробку», машинально отметил: возница куда-то делся, лошадь, по виду очень старая, понуро свесив голову, стоит безучастная ко всему, что происходит вокруг.

Объехав повозку, он медленно продолжил движение. Внезапно что-то оглушило — едва не лопнули барабанные перепонки, тугая воздушная волна подбросила «жестянку Лиззи», словно консервную банку, железки наподобие шrapнели пробили стёкла, он ударился грудью о руль и отключился. Всё произошло в доли секунды, слилось в один жуткий миг и этим мигом отпечаталось в памяти.

Сколько пробыл без сознания, он не знал. Видимо, недолго, ибо увидел коричневатый дым, окутавший улицу, вдохнул тяжёлый кислотный запах взрыва, откуда-то издалека, словно из небытия, постепенно усиливаясь, доносились крики и стоны. Почувствовал резкую боль в груди, откуда-то капала кровь, попробовал выбраться из машины, дверь заклинило, пролез в образовавшуюся дыру и порезался об торчавшие из паза острые грани стекла. У левого переднего колеса валялось исковерканное женское тело, напоминавшее верхнюю часть манекена — голова с огромными выпученными глазами, шея и торс. Рувима шатнуло, и он начал медленно сползать на мостовую...

Сквозь ватное оцепенение и дурман, сопутствующие долгому, беспробудному сну, соткался близкий, родной образ, не было сил открыть глаза и разглядеть наклонившееся над ним лицо, но он чувствовал его присутствие; сейчас он даст себе команду разлепить веки и поймёт, что это не мираж, не игра дремлющего воображения, сейчас, вот-вот, ещё один миг...

Эстер сидела рядом с кроватью, держа в ладонях его левую кисть, он чувствовал тепло прикосновения, хотел что-то сказать, язык не слушался, он пошевелил сухими губами.

— Пить? Ты хочешь пить? — встрепенулась жена.

Он моргнул в знак согласия: да, хочется пить.

Она приблизила стакан с водой к его рту, он ощутил охлаждающую твёрдость стекла и сделал два глотка. Сознание начинало возвращаться.

— Где я? — спросил он полушёпотом.

— В госпитале. В «Святом Винсенте». Сюда доставлены все раненые.

— Какие раненые? Что случилось?

— Ты ничего не помнишь? И слава Богу. Этот кошмар надо забыть раз и навсегда.

— Что случилось? — повторил.

— Потом... Ты жив, и это главное.

Евсей ЦЕЙТЛИН ЖИТЬ ЛЕГКО

Из цикла «Опыт прощания»

27 февраля 2023 года в маленьком американском городке с красивым названием Афины умерла литературовед Елена Александровна Краснощёкова. Мне легко вспомнить сейчас, когда и как я познакомился с ней. В марте 1971-го она пригласила меня на обед. Мало сказать: я удивился. Мне было двадцать два года. Всего неделю назад я приехал в Москву из Омска, чтобы поработать в личном архиве писателя Всеволода Вячеславовича Иванова. Как раз тогда его вдова Тамара Владимировна готовила новое восьмитомное собрание сочинений этого «оппозиционного классика» советской литературы. Издание было поистине особенным: после долгих десятилетий здесь печатались произведения, о которых стало принято говорить «незаслуженно забытые»; другие — знаменитые — тексты появились наконец в первозданном виде, очищенные от наслоений конъюнктурной правки; третьи публиковались впервые... Текстологией ко многим томам с увлечением занималась Елена Краснощёкова.

Тот обед в дождливой мартовской Москве, как лакмусовая бумажка, проявил щедрый характер ЕА. Она познакомила меня со своим мужем — Сергеем Михайловичем Самойловым, со своей сестрой-близнецом Натальей Александровной. Кажется, все они (даже годовалый сын Миша) только и думали о том, чтобы согреть и ободрить приехавшего из Сибири начинающего литературоведа. Мы выпили по рюмке коньяка за мои успехи.

«Надо стараться жить легко», — сказала мне тогда ЕА, думая о терниях на моём пути. Так сама и жила. Молодая элегантная дама: модно и с большим вкусом одета, на голове часто — красивая шляпа, на руках — дизайнерские перстни с натуральными камнями. Дважды в неделю, в свои присутственные дни, она приходила на работу в Книжную палату. Туда «на огонёк» заглядывали её друзья — литературоведы, журналисты. Обедала ЕА в ресторане «Прага». Писала она тоже легко. Радовалась

интересным редакционным и издательским заказам. Это были статьи о первопроходцах советской прозы — Всеволоде Иванове, раннем Константине Федине, Исааке Бабеле, Андрее Платонове, Иване Катаеве... Нередко она составляла сборники их произведений.

Надо жить легко? Конечно, она жила тяжело, но никогда не показывала этого. Больше того — утверждала обратное. Она родилась 22 июня 1934-го, а в ноябре 37-го её отец, Александр Михайлович Краснощёков (российский социал-демократ, впоследствии советский государственный и партийный деятель — *Википедия*), был расстрелян. Его жену, Донну Яковлевну Груз, отправили на восемь лет в знаменитый Алжир (Акмолинский лагерь жён изменников родины), две дочери в конце концов попали в детдом. Их спасла Лида, неграмотная няня: отыскала детдом, устроилась туда работать, а потом забрала сестёр к себе.

Впрочем, по-моему, это её убеждение — «надо жить легко» — родилось не только в результате осмысления горьких изломов собственной судьбы. Может, лёгкость коренилась в генах? Александр Краснощёков шёл по жизни лёгкой походкой. Оказавшись в 1902-м в эмиграции, работал портным и маляром, но быстро выучил английский, экстерном окончил Чикагский университет, получил диплом юриста, отстаивал в судах интересы профсоюзов... Узнав о февральской революции, он немедленно устремился в Россию. По пути — в разных краях — помогал становлению новой власти. Участвуя в боях с белыми на Дальнем Востоке, несколько раз едва не погиб — о нём слагали легенды как о герое. Александр Краснощёков стал президентом и одновременно министром иностранных дел Дальневосточной республики. Колоритная деталь: деньги с подписью Краснощёкова были обеспечены золотом, в народе их называли «краснощёковками».

Мемуаристы, вспоминая Александра Михайловича, говорили о его редкой щедрости. Это был и особый сюжет в жизни его дочери. Кто-то в разговоре со мной назвал Елену Краснощёкову доброй волшебницей. Элегантная дама творила добро, вроде бы, не задумываясь об этом. Кому-то посылала деньги (в Америке, чтобы случайно никого не забыть, составляла списки перед отправкой переводов в Россию). Писала бесконечные отзывы на чьи-то книги и диссертации, руководствуясь одной мыслью: надо обязательно поддержать. Кого-то устраивала на работу. Хронических больных снабжала лекарствами. Помню, мы вместе с ней участвовали в научной конференции, проходившей в Павлодаре, познакомились там со стариком, проведшим немало лет в лагере, а сейчас придавленным неразрешимыми бытовыми проблемами: некоторые из них ЕА сумела разрешить совсем скоро.

Полвека я общался с этими удивительными людьми, больно контуженными советской властью. И признаюсь, часто думал об их таких разных характерах и судьбах. Разумеется, гены определяют не всё. Не раз замечал: сестра-близнец, Наталья Александровна, — совсем другая. У неё тоже была лёгкая манера общения. Но как бы ненадолго. Потом она замыкалась в себе. Наверное, её не отпускали беды прошлого... Александр Краснощёков имел и детей от брака, заключённого в Америке. Их мать, не захотев жить в России, вместе с сыном вернулась в США. А дочь Луэллу (ей дали имя по названию парка в Нью-Джерси), взяла под свою опеку и поселила на даче в Пушкино любившая Краснощёкова Лиля Юрьевна Брик. Луэлла выросла, стала зоологом, переехала в Ленинград, выйдя замуж за писателя-фантаста Илью Варшавского. ЕА виделась с ней часто: они дружили... Но центром её Вселенной был, конечно, сын — Миша. Этот обаятельный мальчик, по решению родителей, с раннего возраста присутствовал при беседах взрослых. Никому не мешал. Однако, как потом выяснялось, он точно понимал скрытые в разговорах и спорах нюансы. Сын щедро получил в детстве всё, чего когда-то была лишена его мать. В январе, в день рождения Миши, ЕА каждый год устраивала искрящийся весельем и остроумием праздник... Как же возникла в её «лёгкой» жизни тяжёлая тема эмиграции? Её начал муж — Сергей Михайлович. Это был человек большой культуры, редкой преданности жене и сыну. Он умер в девяносто семь лет, меньше чем через месяц после того, как похоронил ЕА, многолетняя забота о которой по-своему стала его миссией. Но в 1970-е он, поддержанный женой, думал о верности собственному призванию. Кандидат химических наук, Сергей Михайлович работал по специальности, однако душа его, если только можно так сказать о душе, была гуманитарной. Многоопытные еврейские родственники уговорили Сергея выбрать профессию, с которой «не пропадёшь». А Сергей Михайлович читал книги о древнем мире на разных языках, разбирался в специфике раскопок, хотел наяву увидеть эти заповедные для него места. Но главное — он мечтал жить на свободе. ЕА согласно считала: нельзя насиловать ничью душу. Однако для себя «забронировала» ещё несколько лет жизни в Москве — чтобы осуществить задуманные и начатые, как теперь говорят, проекты. Когда они с Мишей уже были готовы к эмиграции, их не выпустили. Как прошли для ЕА годы «в отказе»? Сергей Михайлович присылал технику, которая в Москве была дефицитом — компьютеры, магнитофоны, ЕА сдавала их в комиссионку. «Если „органы“ попросят у меня объяснение, я скажу, что это Серёжины алименты». К тому же те годы не были «пропавшими» для ЕА: она готовилась к следующей большой теме.

«Вот увидите: Америка с лихвой оправдает все ваши ожидания», — сказал мне Сергей Михайлович, когда почти три десятилетия назад я тоже переехал в США. Сам он осуществил здесь свои мечты. Миша защитил диссертацию, стал исследователем-биофизиком. ЕА преподавала в нескольких университетах Нью-Йорка и Колорадо, два десятилетия была профессором русского языка и литературы в университете Джорджии. И, как всегда, напряжённо и — одновременно, по её словам — легко работала за письменным столом. Не знаю, хотела ли она подвести итоги собственных долгих трудов, но к своей последней книге приложила длинный перечень некоторых публикаций, заметив: «Из более чем ста опубликованных автором работ отобраны наиболее достойные упоминания». Здесь, в том числе, были монографии: «„Обломов“ И. А. Гончарова» (1970), «Художественный мир Всеволода Иванова» (1980), «Иван Александрович Гончаров. Мир творчества» (1997), «Роман воспитания Bildungsroman на русской почве» (2008).

В эмиграции мы — за редким исключением — долго существуем на обочине новой жизни. Не сразу понимаем: другая жизнь, чтобы в неё войти, требует от нас отстранения и лёгкости. Качества эти неизменно присутствовали у ЕА. Она весело рассказывала о том, как учит американских студентов понимать сложный язык русских классиков; с не ушедшим восхищением мысленно возвращалась в Японию, где, получив грант, в качестве зарубежного исследователя старалась реконструировать творческую лабораторию автора «Фрегата „Паллада“»; с иронией, но без злобы говорила об эмигрантских нравах; по памяти цитировала наиболее «выдающиеся» фрагменты из сочинений, присланных на конкурс прозы имени М. Алданова в «Новый журнал»: была там неизменным членом жюри...

А я вновь вспоминал любимое правило ЕА: «Надо стараться жить легко». Увы, у меня это никогда не получалось.

Здесь и простимся

7 августа скончался Рафаэль Левчин (1946–2013) — поэт, драматург, прозаик, переводчик, эссеист, художник.

За два месяца до смерти Рафаэль Левчин подарил мне свою последнюю книгу — «Старые эфебы». Я сразу понял: автору было по-особому дорого имя, которое он дал сборнику. Эфебами в Древней Греции называли юношей. А Рафаэль, как большинство поэтов, так и не переступил порог этого возраста. Мне казалось, ему было скучно и неуютно в мире солидных людей. Может быть, потому он так часто менял профессии:

Борис ЗВЕРЕВ
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАБВЕНЬЮ

Сопrotивление забвенью
Есть бесполезное занятие:
Всё подлежит в природе тленью,
И рассыпаются объятья.

Глаза уходят, руки, плечи,
Воспоминая и признавая,
И забываются все речи,
Свиданья, смех и расстаивая.

Но вы забвенью не верьте,
Оно — обманное явление,
В подложном липовом конверте
Фальшивое уведомление.

От тьмы неверия до веры
Вы расстояние измерьте,
Многострадальные курьеры
С повесткой тайной о бессмертье.

Как смерти неповиновение
Среди сомнений и стремлений
Сопrotивление забвенью
Дороже всех сопротивлений.

СЕМЕНА

Они нас хоронят, но мы — семена!
У нас есть фамилии и имена,
Истории жизни, борьбы и любви.
Мы долго в земле пролежать не могли.

На пользу нам глина, песок, чернозём.
Мы вверх прорастаем и песни поём.
А в песнях и солнце, и свет, и весна.
Хоронят, а нам не до вечного сна.

Хоронят, чтоб с глаз поскорее долой,
Чтоб стали скорее мы прахом, золой.
Они забывают, что мы, как Антей:
Чем глубже зароят, тем будем сильней.

Пускай нас хоронят, не знают они,
Что наши ещё не исчислены дни,
Что мы не закончены в час похорон,
Без нас невозможен весны перезвон.

Мы тянемся к свету, он нас возродит,
Он нас призывает и жить нам велит.
Откуда-то взявшийся жизненный сок
Вдруг смерть отвергает, стучится в висок.

Наш к свету прорыв неотступен и рван,
Такая природа у нас, у семян.
А им не понять, и во все времена
Они нас хоронят, но мы — семена!

ДОСТОИНСТВО В СМЕРТИ

Привык я, не раздеваясь, спать.
Не знаешь, когда прилетит «Кинжал»
Иль что там ещё у них? Быстро встать
И сразу в убежище побежал.

Но это не главное. Что-то есть
Нелепо стыдное, если нет
На теле одежды, и если смерть
Пришла к тебе, а ты не одет.

Болезнь, больница, летальный исход...
Бывает. Тогда разговор другой,
А тут застали врасплох, и вот —
Не только мёртвый, но и нагой.

Какая разница, чёрт возьми!
Но кажется мне, что есть она.
Чтоб не было с голым телом возни, —
Таким вот мыслям учит война.

Кого волнует? Что за каприз?
Но будто с собой заключаю пакт:
Достоинство в смерти — особый приз,
Как говорится, последний акт.

А потому мой обряд таков:
Подальше от окон ложусь в кровать
В одежде. Как есть. Ко всему готов.
Хотя и не хочется умирать.

СО МНОЮ ВСЁ В ПОРЯДКЕ ПОЧТИ

Посвящается украинским женщинам

Со мною всё в порядке почти.
Стреляют, но пока далеко.
За слабость это мне не зачти,
С детьми одной сидеть нелегко.

А гляну из окошка — темно,
Зарницы от разрывов видны,
Как будто я попала в кино
О страшном беспределе войны.

Вот так в ночи всё плачу, пою,
А на часах уж около двух,
И ты сейчас, быть может, в бою,
А ждать тебя мне следует вслух.

И лучше не смотреть на часы,
Где время уже около трёх,
Чтоб лента новостной полосы
Меня вдруг не застала враспloch.

Но вот уже разрывы вблизи,
На нас все направляют беду,
Спаси нас и удар отрази,
Не дай погибнуть в страшном бреду.

Пойду детей во сне обниму,
Губами к их щекам приложусь,
Сама не разберу почему
Я, правда, ничего не боюсь.

Особенно когда о тебе
Я думаю и ночью, и днём,
Надеюсь, что моей ворожке
Дано тебе быть верным щитом.

Вот, кажется, пока тишина,
Нам слёзы не идут, ты учти.
Я — сильная, как наша страна.
Со мною все в порядке почти.

ПРИГОВОРЁННЫЕ К ЛЮБВИ

Сомненьем небо не гневи,
Не разрывай священных пут.
Приговорённые к любви
Помилования не ждут.

И в сладком полузабытьи
Не зная, быть или не быть,
Внимают голосу судьи:
«Помиловать нельзя, любить!»

Но это лучше, чем когда,
Им одиночеством грозя,
Звучит решение суда:
«Помиловать, любить нельзя!»

Терпя всю боль огня и льда,
Они готовы всё забыть,
Чтоб не услышать никогда:
«Помиловать, нельзя любить!»

А приговор суров и крут,
Избиты души, все в крови.
Помилования не ждут
Приговорённые к любви.

Евгения БОСИНА
В КРАЮ БЕСКОНЕЧНОГО ЛЕТА

* * *

В горячей точке и горячей
на самом краешке строки —
такой простор!
И тучи, тучи —
фаланги, стаи, косяки —

летят, плывут по тьме бессонной,
всё ниже, ниже и быстрее,
мне в этой точке раскалённой
никак согреться...
только в ней,

опасной, яркой, уязвимой,
живой, конечной,
узловой,
так нестерпимо жарки зимы,
так жжёт подошвы шар земной,

и что ни ночь, горят тетрадки
с упрямым почерком моим,
а мне... мне холодно и зябко
в дыму и гари этих зим,

в большой и шумной одиночке,
вон там, в углу, меж трёх морей,
в конце строки, в горячей точке,
горючей, крохотной,
моей...

* * *

На Острове Счастливых Мертвецов,
куда мы приплывём в конце концов,
под небом, полным звёзд и тишины, —
ни города, ни мира, ни войны,

а только дождь и сад, и под окном
промокший куст в свечение золотом,
и дверь — скрипит о чём-то: не поймёшь,
пока плывёшь.

А ты ещё плывёшь...

О, нет счастливей тех островитян!
Всё радость: и душица, и тимьян,
и каждый лист, от солнца золотой...
И каждый мёртвый знает, что живой,

ещё живей, чем прежде, может быть,
когда всё думал:

плыть или не плыть?

когда, покинув стылое жильё,
один пустился в плаванье своё.

Давай, плыви! Всего-то ерунда,
совсем чуть-чуть до пункта «никогда»,
до тишины, где мята и чабрец,
где кто ни есть: пловец или беглец —

увидит сад, колодец — и вздохнёт,

и оживёт,

а после заживёт,

и станут незаметными почти

тот рваный шрам, та дырочка в груди...

* * *

... И вот приходит время декабря,
и в небе, не очнувшись от лета,
парят слова и прочие предметы,
и кто-то
(кто — никак не разберу).

Не стынть, не жар, не лето, не зима —
таков декабрь в наших палестинах:
то смех, то плач, то серое на синем,
то вперемешку охра и сурьма.

— А что же снег? — ты спросишь.
— Снег?
— Да, снег!
— Не будет. Вообще не предусмотрен,
а будет сырость гулких подворотен
и будет сон, увиденный во сне.

О, эти сны бесснежных декабррей —
и лёгкость тел, и крыл, и безмятежность!
Но с каждым годом —
с каждым! — тяжелей
даются птичья лёгкость и бесснежность,

всё неподъёмней тонкая тетрадь,
всё резче свет, сильнее жженье в лёгких.
Что ж, с каждым декабрём про эту лёгкость
я начинаю больше понимать.

Ещё про тех, взлетевших над зимой,
над всем, что было до смерти любимо...
— Да где же, где?
— Вон там, над головой, —
так невесомо, так непоправимо.

* * *

Так долго длился звук, так странно —
иных, неведомых земель...
Решись назвать апрель — нисаном
и преврати в нисан апрель.

Всё дело в слове. В нём — и только:
нисан, осанна, сонный сад.
Апрель мой, тающий и тонкий,
уплывший остров, Китеж-град,

он был — и нет, он невозможен.
Другой, тугой как тетива,
пришёл — гортанный, смуглокожий —
нисан: сангина, синева,

терновый куст, огонь и голос,
и тьмы идущих меж песков,
и тьма, идущая на город,
подбой кровавый... Вот каков

нисан: клокочущий и нервный,
горячий, зрячий и слепой.
О, самый царский, самый первый
для тех, кто после, кто второй

и третий (далее — по счёту),
несётся в грохоте недель!
Но дело в слове, оттого-то
я говорю: прощай, апрель —

мой нежный, с дымкой золотою,
мой уходящий грустный рай,
мой Лель, мой мальчик, Бог с тобою!
Я не держу тебя, прощай!

Прощайте, речка, мостик ветхий —
до слёз немое синема...
Отныне — присно и вовеки! —
нисан, осанна, синева.

Ксения ГАМАРНИК

ТАЙНЫ АГАТЫ КРИСТИ

50 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ ДЕТЕКТИВА (1890–1976)

Если попросить кого-нибудь продлить фразу «Агата Кристи — это...», большинство людей немедленно откликнутся: «королева детектива». И немудрено, ведь её творческое наследие — огромное явление в литературе детективного жанра: 66 детективных романов и 14 сборников рассказов. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше двух миллиардов экземпляров, переведены на десятки языков мира. Чаще, чем детективы Кристи, в мире издавали только Библию и произведения Шекспира. А книга рекордов Гиннеса в 2018 году назвала Кристи самым публикуемым автором прозы всех времён и народов. Самый популярный детективный роман Кристи «Десять негрятят» (в англоязычных странах он издаётся под названием «И никого не стало») — одна из самых продаваемых книг в мире, было продано около 100 миллионов экземпляров. И на этом рекорды писательницы не заканчиваются. Ей также принадлежит пальма первенства автора, чьи книги наиболее часто переводятся на иностранные языки. И, наконец, Агата Кристи написала пьесу, которая идёт в театре рекордное количество лет. Пьеса «Мышеловка» («The Mousetrap») была поставлена в одном из лондонских театров в 1952 году и идёт там до сих пор. Показ прерывался лишь однажды, после почти семидесяти лет показа, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, и возобновился год спустя.

В КРУГУ СЕМЬИ

Трудно представить, что какой-нибудь автор впервые садится за стол и пишет выдающееся произведение. Этому обычно предшествуют годы раннего творчества. Не стала исключением и Агата Кристи. Она была младшим ребёнком в состоятельной семье, принадлежавшей к высшему слою среднего класса. Её сестра Маргарет, которую в семье называли Мадж, и брат Луис Монтант, которого все запросто звали Монти, были



Агата Кристи, 1912 год.

намного старше Агаты. Поэтому девочка росла, почти не зная общества сверстников, до 12 лет получала домашнее образование, была страстной читательницей, придумывала себе воображаемых друзей и сочиняла стихи и рассказы.

Агата Миллер родилась в интересной семье. Её отец Фред Миллер был американцем, сыном компаньона торговой фирмы. В жизни он не работал ни дня, после смерти отца беззаботно проживая доставшееся ему умеренное наследство. Он был членом престижных джентльменских клубов в Нью-Йорке и в Лондоне.

В городе Торки в английском графстве Девон, где Фред Миллер жил с женой-англичанкой и детьми, он тоже состоял в джентльменском клубе, а, кроме того, в обществе садоводов, в клубе стрельбы по глиняным мишеням, в теннисном клубе, в группе, организовывавшей концерты классической музыки, в обществе по предотвращению жестокого обращения с животными и в Девонширской Ассоциации по развитию науки, литературы и искусства, но более всего был предан клубу игроков в крикет. Фред был чрезвычайно общительным, часто давал и посещал званые ужины, играл на пианино и пел, выступал в любительском театре, коллекционировал мебель и картины, любил путешествовать и играть в вист. Он так никогда и не удосужился получить британское гражданство и патриотично хранил в застеклённом шкафу чучело американского белоголового орлана. Когда наследство исчерпалось и у семьи Миллеров начались финансовые трудности, Фред раскис, начал жаловаться на «десятки инфарктов» и вскоре умер в возрасте 55 лет. Агата Кристи писала, что её детство закончилось со смертью отца. Ей было 11 лет.

Мать Кларисса, наоборот, была склонна к меланхолии, интересовалась философскими учениями, в частности, зороастризмом, а для младшей дочери придумывала сказки.

Брат Монти был ветераном второй англо-бурской войны (1899–1902) и Первой мировой. В промежутке между войнами работал в Африке проводником на сафари, затем на верфи в Англии пытался строить грузовое судно для будущего использования в Африке на озере Виктория, но тут началась Первая мировая война и судно было реквизировано

британским правительством, а сам Монти отправился воевать. После ранения он вернулся в Англию, томился от бездеятельности и нездоровья, даже начал палить из окон по прохожим, так что Мадж и Агате пришлось купить ему коттедж подальше от дома и приставить строгую домоправительницу.

В своих мемуарах Агата Кристи вспоминала про сестру Мадж: «Она до замужества начала писать рассказы. Многие из её рассказов были приняты для публикации в „Vanity Fair“. В те времена публикация в „Vanity Fair“ считалась значительным литературным достижением, и отец был чрезвычайно горд ею. Она написала серию рассказов, все связанные со спортом — „Шестой мяч“, „Кэсси играет в крокет“ и другие. Они были забавными и остроумными. Примерно лет двадцать лет назад я перечитала их и подумала, как хорошо она пишет. Интересно, продолжала бы она писать, если бы не вышла замуж. Мне кажется, она никогда не воспринимала себя всерьёз как писательница, вероятно, она предпочла бы быть художницей».

По воспоминаниям Кристи, Мадж, выйдя замуж в 1902 году, больше не сочиняла рассказы, но в 1910–20-х годах написала несколько пьес, одна из которых была поставлена в Лондоне в 1924 году. Как и их отец, Мадж и Агата в юности играли в любительских постановках.

Сама Агата опубликовала впервые стихотворение, посвящённое новшеству того времени — запуску электрического трамвая, в 1905 году, когда ей было 14 лет.

В 1908–1909-х годах Агата, кроме стихов, начала писать рассказы, посвящённые сновидениям и недугам разума, в которые вплетались мотивы сверхъестественного, среди них «Дом красоты» (позднее издан под названием «Дом грёз»), «Зов крыльев» и «Маленький одинокий бог». Её стихи иногда появлялись в печати, а вот все рассказы были журналами отвергнуты. Такая же судьба постигла её первую повесть «Снег над пустыней», действие которой разворачивалось в Каире, где Агата с матерью провели три зимних месяца в 1907–08 годах. «Снег над пустыней», написанный под псевдонимом Моносиллаба, был отвергнут шестью издателями.



Агата Кристи во время работы медсестрой, 1915 год.

В 1914 году Агата Миллер вышла замуж за офицера британской армии, военного лётчика Арчибальда Кристи. В годы мировой войны, пока Арчи воевал, Агата начала работать в госпитале Торки, сперва на волонтерской основе медсестрой, затем сдала экзамен на звание ассистентки фармацевта и перешла в госпитальную аптеку, где стала получать скромную зарплату. Микстуры и мази в то время готовились вручную, и Агата накопила глубокие познания в области медицинских препаратов, включая отравляющие вещества. Эти знания в будущем пригодились ей в литературной работе.

Интересно, что первый детективный роман Агата Кристи написала на спор с Мадж. Сестра заявила, что Агата не сможет сочинить детектив, в котором читатели не разгадали бы преступника с первых страниц. Чтобы доказать, что Мадж неправа, в 1916 году Агата, в перерывах между дежурствами в госпитале, засела за роман «Загадочное происшествие в Стайлзе» («The Mysterious Affair at Styles»). Впрочем, прошло четыре года и были получены отказы от трёх издателей, прежде чем детектив был опубликован.

«ЯД ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЁННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ»

В своих мемуарах Агата Кристи вспоминала, что, готовясь к экзамену, она занималась у одного из самых опытных фармацевтов Торки, который произвёл на неё неизгладимое впечатление. Однажды фармацевт достал из кармана какой-то тёмный комочек. «Это кураре, — пояснил фармацевт, — интересная штука, очень интересная. Если он попадает в рот, то не приносит никакого вреда. Но стоит ему проникнуть в кровь — мгновенный паралич и смерть. А вы знаете, почему я ношу его в кармане? Наверное, дело в том, что это даёт мне ощущение могущества».

Да и сама обстановка аптеки давала пищу воображению. «Я начала задумываться, какую детективную историю я могла бы придумать, — вспоминала Агата, — поскольку я была окружена ядами, было естественно, что смерть от отравления стала методом, который я выбрала». В «Загадочном происшествии в Стайлзе» жертва была отравлена сочетанием двух препаратов — бромида калия и тоника со стрихнином. Действие препаратов описано так точно, что один из рецензентов, ничего не знавший о начинающей писательнице, заметил, что у неё, вероятно, есть фармацевтическое образование.

Во время Второй мировой войны Кристи вновь вспомнила про свой диплом ассистентки фармацевта и отправилась работать в аптеке при лондонском госпитале.

Соня ЛЕВИНА
ПОРТРЕТЫ ВРЕМЕНИ

ДАВИД И ГОЛИАФ

Он мне сказал: «Заморыш, трепещи!
Я в пыль тебя сотру, утёнок гадкий:
Прыщи твои и жалкие хрящи,
И камень твой убогий, и рогатку...»

Он был как полубог и рвался в бой
Неправедный. Неравный и нечестный,
Поскольку он-то был — самим собой,
А я — в броне господней, как известно...

Потом уже, когда прошли века,
Давида изваял Микельанджело —
Не тощего подростка пастуха,
А полубога с мускулистым телом.

«Ну что, узнал?» — беззвучно говорит
Мне он. Невозмутим и безупречен,
Теперь он во Флоренции стоит
С моей пращой, закинутой за плечи...

УЛИЦА МАЛЬБОРО

Послушай, современник, не ходи
По Мальборо... Оставь мне эту нишу!
Ты на меня с укором не гляди...
Здесь — никого. Меня никто не слышит.

Поверь, здесь ни купить и ни поесть —
Ты только прослоняешься бесцельно...
А всё, чего в помине нету здесь,
В избытке есть на паре параллельных...

Здесь — Диккенс. И, конечно, Теккерей.
Начало девятнадцатого века.
Здесь бронзовые вазы у дверей,
Большая церковь и библиотека.

Здесь до сих пор — дверные молотки,
И пахнут в палисадниках левкой.
Здесь форточек квадратные очки
Лучатся домоседством и покоем.

В мансардами увенчанных домах
Живут давно, и все друг друга знают...
Наверно, здесь и Англия сама
Сохраннее, чем тёзка островная.

Отрезав от себя публичный сад,
Заросший ряской пруд и пыльный остров,
Она течёт меж кованых оград,
Вскипая на плотинах перекрёстков.

В конце она уходит в завиток.
А чуть подальше — бурное движенье
По месиву сцепившихся дорог...
Привет тебе, любезный современник...

ГАУДИ

Черепки и осколки керамики в парке Гуэль,
Оплывающий контур песчаного замка в Саграде...
Он, конечно, не думал о почестях или награде,
Да и сам-то сначала не видел конечную цель.

Просто знал, что процесс — это жизнь, результат — это смерть,
Да и утро всегда мудренее, чем вечер вчерашний...
Залетают усталые птицы в шершавые башни,
Покрывается крупными гроздьями грубая жердь...

Этот храм до сих пор не достроен. В небесную твердь
Вольный ветер и звёзды никак не хотят превратиться,
И святое семейство не видит причин торопиться,
Потому, что процесс — это жизнь, результат — это смерть.

СТАРЫЕ ЧАСЫ

Мы продавали старые часы
(отъезд, неразбериха, нервы, спешка),
Не то, чтобы невиданной красоты,
К тому же им случалось и замешкать,

Но циферблата круглая луна
Всегда светила за стеклянной дверцей,
И тихий бой, не нарушавший сна,
Неслышно отдавался в каждом сердце.

Нам их не разрешили увезти:
Они являлись ценностью народной.
Как говорится, не было пути
Иного... После ругани бесплодной

Мы сняли их со стенки, а они
 Цеплялись за простенки и за двери...
 Они просили молча: «Не гони!
 Не отдавай! Не отпускай! Не верим!»

Всё это было много лет назад.
 Да некому и вспомнить будет скоро!
 Но смотрит в душу круглый циферблат
 По-прежнему — с мольбою и укором.

КУСТОДИЕВ

Глаза и кисть равно погружены
 В избыточность телесной белизны
 И губ капризных ягодную алость,
 В прозрачность безмятежных серых глаз...
 Художнику с моделью не до нас,
 Хотя для нас всё это создавалось.

Как мог он, когда всё в тартарары,
 Как лава с огнедышащей горы,
 Обрушилось, пути не разбирая,
 Писать постель и розовый атлас,
 И ярмарку, и ситчики, и квас —
 И весь уклад утраченного рая?

В любом портрете — времени портрет.
 Но даже кровью меченый скелет
 Или кумач, над миром вознесённый,
 Не отменяют блюдечко в руке,
 Жар самовара, церковь вдалеке,
 Учёного кота и дуб зелёный...

Юрий СОЛОДКИН ... НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Чем старше я становлюсь, тем с большей назойливостью у меня возникает вопрос, откуда я. Не в общечеловеческом смысле — как возникла жизнь во Вселенной и появились люди на планете Земля — тут возможны только фантазии на тему, а насколько я знаю своих предков по семейной линии. Как я сожалею сейчас, что не расспрашивал об этом своих бабушек и дедушек, светлая им память. Остались только точечные воспоминания из каких-то общих и давних разговоров.

Мой прадед по отцовской линии Юдка Солодкин был портным. Он не шил элитные костюмы и звался брючником. Это означало, что шил он только брюки. Пиджаки требовали большего искусства, которого ему, по-видимому, не доставало. Не знаю, сколько у него было детей. Семья жила хоть и небогато, но вполне достойно. Отмечались все религиозные праздники, соблюдались посты, а по субботам зажигались свечи и читались молитвы во славу Всевышнего. Один из сыновей Юдки, мой будущий дед Иерахмил, который в миру стал зваться Ермолаем, отслужил в армии, которая была ещё царской, а на гражданке освоил технику выделки кож. Он сумел открыть мастерскую, в которой работало несколько наёмных рабочих. Это позволило после Великой Октябрьской революции отнести его к буржуям и отобрать у него собственность.

Дед с женой и четырьмя детьми, старшему из которых, Науму, в будущем моему отцу, было десять лет, вынуждены были бежать. Добежали они до небольшого сибирского городка Ново-Николаевска, который вырос на берегу Оби рядом с железнодорожным мостом через эту реку. В городке была шорно-седельная фабрика, которая делала сёдла для кавалерии. Дед Ермолай заявился на эту фабрику, скрыл своё непролетарское происхождение и сказал, что он работал по выделке кож. Проверили, что не врёт, и приняли на работу. На этой фабрике, которая из шорно-седельной со временем стала обувной, дед проработал много лет до ухода на пенсию. Он вполне приспособился к новой жизни, вступил в партию и стал, как говорили в то время, уважаемым членом коллектива.

Дети подросли. Яша стал инженером, закончив в Свердловске политехнический институт, женился, родил моего двоюродного брата Бориса. Соня вышла замуж за хорошего парня Мишу. Самый младший Семён закончил школу. Как говорится, грех жаловаться. Но вероломный немецкий фашизм, как писали тогда газеты, напал на нашу Родину. Началась долгая Великая Отечественная война. И Яша, и Семён, и Миша погибли на фронте, а Наум вернулся инвалидом, практически потеряв правую руку. После возвращения отца с фронта у меня, родившегося за год до войны, вскоре появился брат Алик, если полностью — Александр.

Добавлю ещё, что сын дяди Яши Борис закончил военное училище, был специалистом по связи, более двадцати лет прослужил в Забайкальском военном округе, гордился тем, что под его руководством были созданы системы связи вдоль всей китайской границы. Борис дослужился до чина полковника, а заканчивал службу в Киевском военном округе.

Такова коротко отцовская линия. Теперь то, что мне известно по материнской линии.

Мой прадед Исаак Кабаков был управляющим в имении графа Милорадовича на Льговщине. Одна из его дочерей Фаня, моя будущая бабушка, вышла замуж за могилёвского купца Абрама Иоффе, которого звали мучным королём. Вся торговля мукой проходила через его руки. Я побывал в Могилёве, постоял на том месте на высоком берегу Днепра, где когда-то была базарная площадь и стоял дом моего деда. Сейчас это сквер, по которому гуляют местные жители. Признаюсь честно, особого волнения не испытал.

У Абрама и Фани было семеро детей. Лия, моя будущая мама, была средней. Ей было семь лет, когда та же Великая Октябрьская революция отняла у них всё. Семью просто выгнали на улицу. Хотите — живите, хотите — умирайте. Мама вспоминала, что они собирали картофельные очистки, варили и ели.

Не знаю, как им удалось добраться до Ленинграда, тогда ещё Петрограда, но добрались, как-то устроились. Старшие дети начали работать, младшие пошли в школу.

Лия после окончания школы пыталась поступить в институт, но ей было отказано как купеческой дочке. В это же время случилась трагедия с её братом Лазарем. На работе его руки попали в станок. Лево́й руки он лишился совсем, а на правой остался один большой палец. Лазарь готов был наложить на себя руки, но тут одна из его женщин, а он пользовался у них успехом, бросила мужа и с ребёнком, которого уже имела, примчалась к нему в больницу. Оказалось, что Рива, так её звали, была племян-

ницей Юдки Солодкина. Поэтому я называл её двойной родственницей. У Лазаря и Ривы родились две мои двоюродные сестры и брат.

Всего с маминой стороны у меня одиннадцать братьев и сестёр. Со всеми были добрые отношения, с одними чуть ближе, с другими чуть дальше. Отмечу только самого младшего брата Сашу Иоффе. Саша вырос в крупного учёного в области ядерной физики. На начальном этапе, когда он был ещё студентом, я сыграл положительную роль в его будущей карьере.

От предков и родственников перехожу к себе любимому. Повторю, что родился я за год до войны. Поэтому войны, как таковой, в моей памяти нет. Когда отец вернулся после госпиталя домой, я увидел незнакомого мужчину в военной форме с висящей на перевязи забинтованной рукой. Когда он протянул ко мне руку, я испугался и заплакал.

«Это же папа!» — прокричала мама и бросилась к нему на шею.

Жили мы вчетвером в маленькой комнатке в полуторазэтажном доме без всяких удобств. Впрочем, у меня есть подробный стих об этом.

Жили-были, но едва ли
Будем хвастать на веку —
Две семьи в полуподвале
И четыре наверху.

Туалет был в дальнем углу двора. Из этого же стиха:

...Мы в пимах на босу ногу
Из натопленных квартир
Мчим к белёному чертогу
Под названием «сортир».

Слово «туалет» мы узнали много позже.

Так оно всё и было. Ещё одно детское воспоминание — как длинную колонну пленных немцев вели вдоль нашей улицы. Ребяшня высыпала поглазеть. Вдруг Колька, сосед по дому и ближайший друг, хватает камень.

...На момент смешался ряд,
Вытянулись лица,
Это колькин снаряд
Угостил фрица.

Конвоир, не кричи,
Погоди малость,

А они, палачи,
К нам имели жалость?

Мой отец инвалид,
Колькин вовсе убит...

Ещё одно детское воспоминание — чёрный рынок около нашего дома. Чёрный, потому что это было неразрешённое для рынка место, и он возник стихийно, по какой-то своей причине, мне неизвестной. Конечно же, и здесь я не мог удержаться от рифмованных строк.

Чёрный рынок. Шумный улей.
Место драк и просто свар.
Я ношусь по рынку пулей,
Предлагаю свой товар:

— Подходи скорей сюда,
Здесь живая есть вода,
На копейку досыта,
Проживёшь лет до ста!

Много картинок запомнилось мне на чёрном рынке. Здесь процитирую одну из самых памятных:

...Дядя Петя подкатил
На тележке к тополю.
— Были ноги, — он шутил, —
Да своё оттопали.

Шёл пилот в ночной полёт.
Нашарили. Подшибли.
Вот теперь шагай, пилот,
На шарикоподшипниках.

Два пудовых кулачища,
Широченные плечища.
Только что они без ног?
В кулаках — колодки.
— Дай-ка мне попить, сынок,
Пересохло в глотке.

Как хотелось мне тогда,
Чтоб живой была вода.
Чуда ждал. А дядя Петя
Знал, что нет чудес на свете.

Ещё одно яркое детское воспоминание — тётя Нюра, Аннушка, как её звали соседи. И про неё, которая из матерщинницы, терроризирующей весь дом, превратилась в благолепную и добрую старушку, у меня написаны стихотворные строчки.

...Аннушка — уборщица
Водку пьёт — не морщится.
А какая мастерица,
Как напьётся, матерится.
И скандалит, шутка в деле,
Каждый вечер на неделе.

И вот Аннушка, не знаю как это случилось, подружилась с женщиной, которая была баптисткой. И явилось чудо.

...Может всякое случиться,
Но такое... Хоть не верь.
Кто-то робко в дверь стучится,
Отворяет мамка дверь.

Тётя Нюра. И с порога
На колени с маху хлоп.
— Ой, простите ради Бога!
И об пол колотит лоб.

После этого о лучшей соседке, чем Аннушка, и мечтать не надо было. Мама на неё часто оставляла меня маленького. Когда я научился читать, тётя Нюра, будучи неграмотной, давала мне Библию и просила что-нибудь почитать. Было интересно, но больше доверия было к безбожному школьному образованию. Только спустя пятьдесят лет я снова взял в руки Библию и внимательно её прочитал. Не просто прочитал, а, что называется, пропустил через себя. В результате появилась моя книга «Библейские поэмы».

Сыграла ли здесь роль тётя Нюра из моего детства? Кто знает!

Артур АКСЁНОВ

СОЗДАВАЯ МУЗЫКУ: ТИТАН ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Артист, покоривший слушателей и оставивший яркое, незабываемое впечатление, нередко становится знаменитостью. Но его успех рождается не только трудом и талантом: за ним стоит Учитель, чьё имя обычно остаётся неизвестным широкой публике. Между тем в профессиональной музыкальной среде ценят не диплом престижного вуза, а личность педагога, сумевшего раскрыть ученику подлинные секреты мастерства.

8 марта 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося педагога — пианиста Бориса Моисеевича Берлина. Начав карьеру концертирующего артиста и вынужденно прервав её из-за болезни, он направил весь свой потенциал музыканта-художника, поистине неуёмный темперамент, огромную волю и эрудицию на преподавательскую деятельность, став уже в 1930-е годы одним из самых известных молодых педагогов Московской консерватории. С 1944 по 1995 годы Б. М. Берлин работал в ГМПИ — РАМ им. Гнесиных, где сыграл очень важную роль в становлении и развитии кафедры специального фортепиано. Сегодня его имя по праву входит в золотой фонд музыкальной педагогики.

Надо понимать, что в XX веке (и ранее) на продвинутом уровне преподавали не так, как сейчас. Изучали нотный текст на бумаге, не было широкого доступа к аудиозаписям (особенно в СССР), и было неизвестно, как произведение должно звучать. Современные студенты, благодаря интернету, могут мгновенно найти нужное произведение в исполнении выдающихся и просто профессиональных артистов. Это часто приводит к копированию находок на слух, без глубокого анализа трактовки, а тем более вникания в текст композитора. В течение почти 70 лет колоссального труда Борис Моисеевич учил понимать и интерпретировать музыку, опираясь на постоянно совершенствующуюся строгую, самобытную систему, продолжавшую традиции русской романтической фортепианной школы, преломлённые через его оригинальное видение музыки.



80-летие Б.М. Берлина. На сцене Концертного зала ГМПИ им. Гнесиных, после концерта

Возможно, это трудно представить, но каждый его урок был подобен театральному действию, где он выступал одновременно вдохновенным режиссёром, дирижёром и пианистом-артистом, и, несмотря на кажущуюся импровизационность, всё было тщательно продумано. У него была поразительная музыкальная интуиция и умение проникнуть в замысел композитора, оживляя его через музыку. Главное внимание уделялось воспитанию у ученика образного мышления, умению вникать в музыкальный текст от простого характера и настроения до глубокой философской концепции и виртуозно интерпретировать это в соответствии со стилем композитора. Речь не идёт об отдельных советах, указаниях, пожеланиях, а о целостной системе, которую можно сравнить с системой Станиславского. Недаром слова гениального театрального режиссёра-педагога часто цитировались на уроках. Удивительно, что Берлину удавалось сделать ученика в процессе игры в некотором роде талантливее, но... не каждый мог у него учиться. Нужны были не только большие способности, требовалась готовность к полной самоотдаче, глубокому погружению в музыку и систему, без расчёта на быстрый и большой успех. Борис Моисеевич был очень строгим и бескомпромиссным учителем, что очень ценилось. К нему шли за советом и ему играли (обыгрывали) программы многие знаменитые пианисты. Это не афишировалось. Во времена Советского союза любая частная практика запрещалась, хотя, конечно, все успешные педагоги ею занимались. Многие из учеников неизвестны, хотя при подсчёте их, видимо, было намного более двухсот человек. К тому же Берлин был профессионально открытым. В классе часто сидели приезжие слушатели или студенты других педагогов. Сам же он всегда рекомендовал ученикам ходить слушать уроки своих коллег.

Берлин считал, что творческий процесс на уроке требует особого состояния, схожего с гипнозом, когда педагог вдохновляет ученика-исполнителя, а тот, в свою очередь, впоследствии оказывает воздействие на публику. Очень неожиданно для слушателей это проявлялось на открытых уроках с незнакомыми учениками. Настраивая мышление, не меняя технических приёмов или других аспектов исполнения, Борис Моисеевич добивался поразительных изменений в их игре. Сам он мастерски демонстрировал музыкально-звуковой гипноз, например, исполнял трель на педали, затем постепенно убирал руку, продолжая двигать пальцами в воздухе, как будто играя, а слушатели всё равно «слышали» звучание трели. Это, конечно, был просто увлекательный приём, но, когда Борис Моисеевич показывал различные эпизоды изучаемых произведений, это была настоящая магия. Рояль звучал под его пальцами невероятно, кто его слышал, не могут забыть эти краски, интонации и просто гигантский динамический диапазон. Он показывал многое в замедленном темпе, словно препарировал звук на цветовые составляющие. Причём это звучание не зависело от качества инструмента, а все рояли в учебных заведениях в годы развитого социализма были в плачевном состоянии: не хватало струн, молотки многократно обклеены замшей, в деках трещины... им было очень много лет. Уроки Берлина были эмоционально насыщенными и непредсказуемыми, а гипнотическое воздействие на студентов и слушателей делало его педагогический подход абсолютно уникальным.

Все его студенты подтверждали, что художественное потрясение начиналось с первого урока, на котором изучался своего рода букварь. Предлагалось сыграть всего одну ноту — си-бемоль, а затем другую — соль-бемоль, и услышать, как один звук плавно перетекает в другой. Это упражнение подчёркивало идею, что смысл музыки не в самих нотах, а в пространстве между ними (параллель со словами великого актёра Михаила Чехова: «смысл слова между букв»). Владимир Горовиц отмечал, что русская школа пианизма начинается именно со звука, в отличие от немецкой, где акцент на форме — подобно тому, как для художника Шагала важен цвет, а для Пикассо — форма. Кажется, ничего сложного нет. У всех студентов уже был опыт и некоторый репертуар (речь идёт о ВУЗе!). Только при поступлении (а конкурс был гигантский!) нужно было исполнить Прелюдию и фугу Баха, сонату Бетховена, этюды Шопена или Листа и т.д. Но попробуйте сыграть эти две ноты так, чтоб слушатель замер, чтоб возникла музыкальная мысль, появились краски и... «шлейф на *diminuendo*» (несколько переиначенная цитата Пабло Казальса). Далее следовали упражнения на «собираание гармоний» —

комбинацию звуков для создания аккордов и гармонических последовательностей. Ученик брал пять нот и на тихом звучании (piano) накладывал второй ряд звуков, развивая слух и контроль.

Огромное внимание уделялось укреплению пальцев для виртуозного красочного звукоизвлечения, один из секретов которого заключался в «стальных пальцах при свободной руке и плече», а также особой посадке за роялем, благодаря которой его ученики выделялись даже внешне (приводилось скрябинское сравнение «как ездок на верховой лошади», а гениальный композитор А. Н. Скрябин был замечательным педагогом игры на фортепиано — профессором Московской консерватории). Интересно, что, объясняя приём игры или упражнение (которых было множество), Борис Моисеевич также применял образные сравнения: «держи кисть, как будто гладишь бархат» или, цитируя Альфреда Корто (причём всегда подчёркивалось авторство сравнения): «как будто раздавливаешь клубнику», что делало обучение живым и запоминающимся. Но начиналось всё с того, что нужно научиться воспринимать «аромат» звуков, «звуки надо нюхать как хорошие цветы» (удивительно образное сравнение!). А главное, надо следовать листовскому принципу: «техника в пальцах, ещё больше в руке, ещё больше в голове». Важно, что находки Б. М. Берлина в фортепианном исполнительстве имеют применение в различных областях музыкальной педагогики.

Борис Моисеевич подбирал репертуар для каждого студента индивидуально, учитывая сильные и слабые стороны. Но обязательный репертуар, такой, как *Ноктюрн ми мажор* Листа или *Первое скерцо* Шопена, отработывался всеми новыми учениками, что позволяло Берлину вводить их в свою систему, раскрывать индивидуальность, заставляя работать интеллект и эмоции, расширять представление о композиторе и о возможностях инструмента. Приведу некоторые примеры: урок с *Сонатой ор. 101* Бетховена начинался с подробного анализа формы 1-й части; во 2-й части анализировался авторский текст, сравнивались различные редакции, и вдруг следовало образное пояснение к *Интермеццо*: «шутливо, как диалог клоунов в цирке...». Налицо как бы три аспекта домашней работы пианиста. В трактовке «Картинок с выставки» Мусоргского Берлин актёрски обыгрывал и «оживлял» персонажей — гнома, трубадура, птенцов или Бабу-ягу. В ля мажорном концерте Листа объяснялось не просто звучание двух настроений, а противоборство Добра и Зла, образы Белого и Чёрного Лебедя. Не формальная констатация того, что пьесы *Грёзы* и *У камина* из «Детских сцен» Шумана начинаются с одинаковой кварты, а образное объединение — «грёзы у камина». Программа *Погребального шествия* Листа постепенно разворачивалась как воображаемое шествие



Б.М.Берлин с учениками дома

на казнь, как процессия поражённой ужасом предстоящего зрелища толпы. Иной урок мог быть посвящён какому-то одному приёму фортепианной техники. Как-то студент неожиданно получил критику (а точнее полный «разнос») после исполнения уже выученной сюиты Баха. Берлин остановился на *Менуэте* и потребовал показать, как он танцует. ... Пришлось отправиться в библиотеку и искать описания заодно уже всех танцев сюиты, что оказалось непростой задачей. Однако на следующем уроке, хоть и смешно, были продемонстрированы все движения, включая поклоны, что затем сделало исполнение музыки значительно более выразительным, содержательным, стилистически и ритмически более точным. И это был не единичный случай. Студенты на уроках голосом пели фразы, чтоб понять и почувствовать дыхание музыки, дирижировали для поддержания постоянного внутреннего пульса музыки, отбивали ритм на крышке, физически вырабатывали свободу в теле и т.п.

Трудно определить, кому из композиторов Борис Моисеевич отдавал приоритет. Возможно — это Бетховен, Лист, Скрябин и Брамс. Но, конечно, ещё и Бах, Моцарт, Шуберт, Мендельсон, Шуман, Шопен, Чайковский, Рахманинов, Дебюсси и Равель. В классе звучали произведения всех эпох и стилей, и педагогический репертуар постоянно обновлялся. Ему в заслугу можно поставить «возвращение» Гайдна ещё в 1930-е годы, так как его музыку практически не играли в СССР до войны. Конечно, в классе звучали появляющиеся новые сочинения Прокофьева и Шостаковича. В 50-е годы его студенты одними из первых стали играть сона-

ты Пауля Хиндемита и Сэмюэла Барбера, произведения Белы Бартока и Джан Карло Менотти (надо понимать, что тогда раздобыть эти ноты в СССР было невероятно сложно, они не издавались, а ксерокса не было), позже произведения Шнитке, Тищенко, Рябова.

Б. М. Берлин был выдающейся личностью. Фортепианная педагогика — то главное, чему он посвятил всю свою жизнь. Но Борис Моисеевич был необычайно предан искусству вообще, прекрасно знал литературу, живопись, театр. Во время концерта от его внимания не ускользало ни одной детали. Театральным критиком он был не менее суровым, чем фортепианным (говорил, что после театра 20–30-х годов мало что может произвести на него впечатление). Он не пропускал ни одной художественной выставки, будь то известный музей или полулегальная выставка на Малой Грузинской, или на ВДНХ (в 70-е годы). Искусство кино Берлин знал досконально. Становление и развитие кинематографа, можно сказать, происходило на его глазах. Он не пропускал ни одного серьёзного фильма. Борис Моисеевич был под огромным впечатлением от фильма Ф. Феллини «Репетиция оркестра», что вполне понятно, но мог неожиданно отметить, например, фильм «АББА» о выступлении шведской рок-группы в Австралии. Борис Моисеевич с интересом ходил на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве в 1980 году, хотя спортивным болельщиком не был. Сам он в молодости любил играть в волейбол, увлекался шахматами. Он поражал широтой взглядов, в хорошем смысле всеядностью, блистательным чувством юмора. У него дома была уникальная библиотека с альбомами репродукций выдающихся художников, включая запрещённых в СССР, и фонотека с недоступными в то время записями Глена Гульда и Владимира Горовица, присылаемыми из США его ученицей Э.Рибер. Студенты и коллеги часто собирались для прослушивания пластинок и обсуждений. Близкими друзьями Бориса Моисеевича, которые всегда приходили семьями на вечеринки по случаю дней рождения или других праздников, кроме музыкантов, таких, как братья А. Д. и М. Д. Готлибы, А. Л. Иохелес, Я. В. Флиер, Я. И. Зак, И. И. Михновский, К. Х. Аджемов, Г. К. Богоино, Е. М. Шендерович и др., были крупнейшие учёные: физики — А. А. Гухман, Б. М. Гохберг, Е. С. Фрадкин; химик Б. М. Богословский, геолог А. Н. Еремеев, профессор Бронетанковой академии В. Д. Мостовенко и др. Конечно, 8 марта в 12 часов дня всегда приходили с поздравлениями студенты, которых ожидали вкуснейшие пироги, торты и пирожные (наш класс был очень дружным). Всегда было очень весело, много шуток, но и рассказов о впечатлениях, об искусстве, о выступлениях или записях пианистов — В. Горовица, А. Рубинштейна, Э. Петри, А. Корто, И. Фридмана; о Г. Г. Нейгаузе и его уроках с С. Т. Рихте-

ром, о смешных совместных приключениях с Э. Г. Гилельсом, и конечно, об учителе Берлина К. Н. Игумнове.

Почти 50 лет своей жизни Борис Моисеевич мужественно справлялся с диабетом, ежедневно самостоятельно вводя себе инсулин и строго соблюдая диету, которую с любовью и заботой поддерживала его преданная жена и надёжная опора Магдалина Христофоровна Поркшеян (прекрасный детский фортепианный педагог, однокурсница и приятельница С. Т. Рихтера, много лет проработавшая в музыкальной школе имени И. Дунаевского). Их сын Александр родился в 1945 году. До конца своих дней Берлин сохранял подтянутый вид и стройность. Однако его жизнь трагически оборвалась из-за роковой медицинской ошибки в больнице — неправильной инъекции. Пройдя через множество жизненных испытаний, включая замалчивание, недопуск его учеников к международным конкурсам и даже увольнение с работы, он сумел сохранить творческую свободу и бескомпромиссность. Он никогда не вступал в партию. Признание его заслуг пришло лишь в конце жизни, в короткий светлый период конца 80-х и начала 90-х годов. Ему присвоили звание «Заслуженный деятель искусств».

К 100-летию со дня рождения была издана книга «Режиссура игры на фортепиано» (есть в Библиотеке Конгресса США). Создан сайт <http://boris-berlin-piano-art.org/> и группа в Facebook «Б. М. Берлин и его ученики». Опубликованы некоторые любительские записи его уроков на YouTube, сделанные в конце его жизни.

Борис Моисеевич Берлин родился в Минске 8 марта (по новому стилю) 1906 года. Его отец Моисей Борисович работал в Русско-азиатском банке, мать — Софья Абрамовна была пианисткой-любительницей и давала уроки музыки. У них было трое детей — Александр, Цецилия и Борис. Перед Первой мировой войной семья переехала в Орёл, где её постигло большое горе: умер от диабета старший сын Александр, а вскоре после этого умерла Софья Абрамовна.

Борис Моисеевич начал играть на рояле в четырёхлетнем возрасте, подбирая по слуху и импровизируя. Первым его учителем (не только музыки, но и других предметов) был Маврикий Мечиславович Клечковский, человек высочайшей культуры и образованности — юрист, педагог, музыкант, ученик С. И. Танеева, толстовец (в дневниках: «б[ыл] Клечковский и играл очень не дурно» — а известно, что Л. Н. Толстой был очень суровым критиком, и там же «достаётся» самым знаменитым пианистам). После его частной школы Берлин учился в гимназии. В 1922 году Борис Моисеевич поступил в Московскую консерваторию по двум специальностям: композиции — класс Г. Э. Конюса, М. Ф. Гнесина

Аркадий БЛЮМИН
КЛУБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

*В клубе своём мы с друзьями общаемся,
В клубе всегда отдыхаем душой,
Здесь от проблем разных мы расслабляемся,
В клубе мы все стали дружной семьёй*

Из гимна клуба

Когда-то думающие, свободолобивые люди слушали «вражеские голоса» — «Голос Америки» или «Свободная Европа» — в наших маленьких квартирках или коммуналках, причём приёмники всячески прятали от Софьи Власьевны, как мы величали советскую власть и её Всевидящее Око Старшего Брата — КГБ — в самых укромных местах. Прятали и от соседей, и от малознакомых гостей — стукачество в стране было развито и очень поощрялось. На эти тайные посиделки приходили только доверяющие друг другу люди. Цель таких встреч была лишь одна — послушать, «вдохнуть» голос правды, если можно сравнить радиопередачу с глотком чистого воздуха. Не только слушали, но и тихонько обменивались мнениями.

Естественно, что как только появились прорехи в железном занавесе, очень многие уехали в разные страны.

Для нас, эмигрировавших в Америку, наступило другое время, началась совершенно другая жизнь — время открытых встреч, разговоров по интересам. Уже не нужно прятаться, а наоборот, — хочется общаться, делиться своими мыслями. Стали образовываться клубы по интересам, литературные клубы, клубы творчества и так далее. Они стали русскоязычным голосом в Америке, куда приглашались творческие люди.

Так возник «Клуб „Интересные Встречи“», который я создал более пяти лет тому назад. Для того, чтобы рассказать историю клуба, считаю необходимым вернуться к истокам. В 1998 году наша семья эмигрировала в Соединённые Штаты, и мы оказались в Сан-Хосе, Калифорния. Оглянувшись вокруг, я увидел вокруг себя огромное количество интел-

лигентных людей с поразительным, нерастраченным интеллектуальным потенциалом, страдавших от невостребованности. Свинцовой тучей над всеми нависла проблема всеобщей разобщённости.

И уже с 2000 года я начал организовывать при джуйке (еврейская организация) Лос Гатоса, района большого Сан-Хосе, регулярные встречи редакции газеты «Кстати» Сан-Франциско, где иногда публиковал свои статьи, с читателями. Но быстро пришло понимание того, что этого явно недостаточно, и в 2004 г. создал Клуб Творческого Общения, которым руководил более пяти лет. Клуб стремительно завоевал популярность, наша аудитория расширилась, мы проводили встречи два раза в месяц. Популярность была такой, что довольно часто в зале было до ста человек, а если на встрече присутствовало меньше семидесяти, я считал её провальной. У нас выступали не только творческие люди из близлежащих городов, включая Сан-Франциско, но приезжали гости из Сан-Диего, Лос-Анджелеса, Чикаго и даже из Нью-Йорка. Были встречи с генконсулом Израиля и вице-консулом Украины в Сан-Франциско. Всё было хорошо, но в моей личной жизни внезапно возникла огромная проблема, требовавшая полной отдачи и занимавшая много времени. С невероятным сожалением пришлось клуб оставить.

Но душе очень хотелось дела, поэтому в эти годы я всё свободное время старался провести с пользой. Был ведущим русского радио в нашем городе, членом оргкомитета международного конкурса пианистов Russian Music Competition.

Писал статьи (их оказалось более 180), которые публиковались в разных СМИ Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто, Нью-Йорка и Чикаго. Издал шесть сборников стихов, сборник рассказов.

Но наступило угрюмое время, разразилась пандемия, ковид загнал практически всех по домам, живые контакты сократились до минимума.

К тому времени я закончил работу над исследовательским трудом «Антисемитизм — тень еврейства», рукопись которой, прежде чем сдать в издательство, разослал некоторым уважаемым мной людям и в еврейские организации.

Отзывы на книгу были одобрительные, сразу пришли предложения о презентации книги, как только она выйдет из печати. Книга вышла из печати в конце 2018 года, и уже в начале 2019-го состоялись презентации в Пало Альто и Монте Вью. Увы, пандемия, о которой я упоминал чуть раньше, загнала всех практически под домашний арест, и намеченные презентации в Сан-Хосе и Сан-Франциско пришлось отложить.

В этой ситуации я обратился к владельцу зум-канала Александру Цодикову, и мы провели виртуальную презентацию книги в режиме зум-

конференции. Поскольку в книге приведено много интересных, малознакомых материалов, а её объём 426 страниц, презентация растянулась на два-три месяца.

После её окончания мы продолжили общение, и на первых встречах обсуждали еврейскую тему в русской и советской поэзии. Затем начали приглашать творческих людей.

Всё шло хорошо, наша аудитория стремительно расширялась, всё чаще мы называли себя клубом. Но ударом ужасного цунами в нашу жизнь ворвался распроклятый день 24 февраля 2022 года, когда началось совершенно не спровоцированное нападение орд-путинской России на независимую Украину.

Я где-то прочитал, что, если бы не война, многие так и остались бы порядочными людьми. Правоту этого выражения полностью подтвердила ситуация в нашем клубе. Сразу стала ясна пророссийская позиция Цодикова, и я без колебаний прекратил общение и вышел из клуба. Буквально через пару дней он заявил о нейтральности своей позиции, но было ясно, что это лукавство и не более того.

Мне было очень приятно, что практически все одноклубники, за исключением одного человека, поддержали меня и покинули Цодикова. Буквально в течение недели три человека предложили свои виртуальные площадки для продолжения работы клуба. Ни минуты не сомневаясь, я принял предложение Жени Ратновской, которую знал ещё по выступлению в Клубе Творческого Общения.

Ввиду того, что наш коллектив сохранился, было принято решение назвать воссозданную структуру «Клубом Интересных Встреч». Таким образом, вот уже более пяти с половиной лет каждую субботу мы встречаемся в нашем виртуальном международном клубе, объединяющем по состоянию на сегодня 158 человек из США, Канады, Франции, Германии, Израиля, Финляндии, Исландии, Украины, России, Новой Зеландии и Киргизии. Одной из главных задач, которые я поставил перед собой, является поиск талантливых людей и предоставление им площадки для самовыражения, для ознакомления людей с их творчеством. И совершенно не имеет значения, насколько широко известны их имена.

Мои одноклубники — в основном это пожилые, неработающие в силу возраста люди. Некоторые из них не в состоянии покинуть свои дома. Но, несмотря на это, головы у всех ясные, а их эрудиции, интеллекту и образованности могут позавидовать очень многие здоровые и молодые люди. Для них встречи с нашими гостями являются буквально вехами в жизни. Представьте себе человека, чей телефон сутками молчит, чья дверь изредка открывается только по случаю прихода соцработника, и вдруг к нему,

пусть и виртуально, приходит любимая актриса или писательница. Поверьте, люди мне звонили и буквально плакали в трубку от благодарности за встречи с обожаемыми ими Д. Рубиной или А. Белым, Н. Манор и Я. Левинзоном, И Аксельродом и Э. Тополем, В. Долиной и Д. Быковым (некоторые одноклубники после этих встреч звонили мне и говорили, что их жизнь разделилась на до и после встречи). Есть одна нерешённая мной задача: как привлечь к работе клуба людей среднего возраста. Я уж не говорю о молодых. Впрочем, эту задачу, насколько я вижу, не решают и другие клубы. Не вижу даже путей подхода к её решению. Исключением являются клубы по интересам, например «Тамза» или «Синий троллейбус». Но и там наблюдается тенденция к повышению возраста участников.

Нами проведено 287 виртуальных регулярных еженедельных встреч, после которых я частенько получал от одноклубников только благодарности. Картина будет неполной, если не скажем о том, что наши талантливые одноклубники не являются пассивными участниками встреч. Например, со своим творчеством знакомили Л. Соминская и Ж. Ратновская, Анна и Григорий Собко, Бэлла Моргенштерн и Светлана Бабицкая, и многие другие. В этом ряду особо выделяется Элла Улицкая, рисующая дивные картины на берёзовой коре.

Я уже писал о нерастраченном интеллекте одноклубников. Это привело к тому, что при клубе начал работать лекторий, которым очень успешно руководит Инна Бабицкая. Таким образом, наши эрудиты получили возможность донести до слушателей свои очень глубокие знания в самых разных областях нашей жизни. Каждая из лекций очень содержательна, с большим количеством новой для слушателей информации.

Необходимо подчеркнуть, что у нас нет даже членских взносов, мы не собираем денег на нужды клуба. Всё держится на энтузиазме. Даже расходы на содержание зум-канала все годы по собственной инициативе несла Женя Ратновская. Но в этом году члены клуба пришли к мнению исправить эту несправедливость и собирали деньги, чтобы компенсировать Жене её расходы. Мы не имеем совершенно никакой финансовой возможности платить хоть какое-то финансовое вознаграждение нашим гостям и, как правило, встречаем с их стороны полное понимание. Хотя и было несколько жутко неприятных моментов, когда приглашаемые гости очень болезненно реагировали на информацию об отсутствии гонорара за выступление. Были не только откровенно хамские выпады, но даже прямые, неприкрытые угрозы.

В наших встречах в качестве приглашённых гостей участвовали поэты, барды, писатели и музыканты, врачи, учёные, художники, эксперты из самых разных стран и континентов. Например, А. Берлин, Г. Фрумкер,

Константин ГУЛИСАШВИЛИ
ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ —
КЛАССИК ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Галактион Табидзе родился 17 ноября 1891 года в селе Чквиши (теперешний Ванский район Грузии), в семье сельского учителя. С 1900 года учился в Кутаисском духовном училище, а с 1908 года — в Тбилисской духовной семинарии. В 1910–1911 гг. работал учителем.

Г. Табидзе является одним из основателей (1924) журнала «Мнатоби» («Светило»). Творчество Г. Табидзе начинается с 10-х годов XX века. Изданный в 1914 году сборник «Стихи» и, особенно, его второй сборник «Артистические цветы» (1919) принесли ему всенародное признание и имя «Гениального Галактиона» и «Короля поэтов». Его стихи «Я и ночь», «Луна Мтацминды», «Могильщик», «Мэри» и др. представили читателю совершенно новый поэтический мир, великое благозвучие грузинских звуков и эластичность грузинских слов.

Стихотворение «Могильщик» Галактион написал ещё будучи 19-летним юношей. Здесь переданы пока ещё наивные взгляды поэта на конечность жизни не только с физической, но и с духовной точки зрения. Человек исчезает и телом, и душой, и, что наиболее прискорбно, он исчезает и из памяти людей, то есть, он исчезает бесследно. Несмотря на определённую наивность, по существу эта позиция является очень важным этапом на пути последующего развития мировоззрения Галактиона.

«Я и ночь» — одно из тех произведений, в которых резко проявляется трагизм одиночества души Галактиона и его духовное сиротство. В стихотворении чётко отображены лирическое переживание и искренность. Согласно стиху, поэт уже свыкся с одиночеством души, и можно сказать, что даже влюблён в него.

В стихотворении «Луна Мтацминды» поэт разговаривает сам с собой, со Вселенной, и будто бы его душа распадается и расходится во времени и пространстве. Прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно целое для того, чтобы вечность могла выслушать исповедь поэта. В этом стихотворении, несомненно, виден поэт, который связывает своё творчество

с творчеством корифеев поэзии XIX века и объявляет себя наследником поэзии Николоза Бараташвили и Акакия Церетели.

Живя в Кутаиси, Галактион влюбился в дочь своего учителя Рафаэла Чихладзе — Раису. Любовь оказалась кратковременной. Раиса уехала учиться в Киев и там вышла замуж. Этой первой любви Галактион посвятил своё стихотворение «Без любви большой».

Стихотворение «Мэри» Галактион посвятил фрейлине императрицы России — Мэри Шервашидзе-Чачба, с которой даже не был лично знаком. Мэри была дочерью абхазского князя Прокофия Шервашидзе. Эта муза Галактиона родилась в Кутаиси, но из-за службы отца (он был депутатом российской думы) вскоре переехала в Петербург. Свою платоническую любовь к Мэри Галактион уместил в двенадцать строф стихотворения.

Исключительно отточенная мелодичность, необъяснимая музыкальность, природа ритма, лексика и стройность фраз характеризуют почти все стихи Галактиона.

Творчество Галактиона Табидзе уже много лет стоит непреодолимой вершиной в современной грузинской поэзии. Его авторитет и сегодня господствует, а подъём грузинского стиха на качественно новую, сравнительно с его стихами, более высокую ступень остаётся неразрешимой задачей.

Галактион Табидзе умер 17 марта 1959 года в возрасте 67 лет. Похоронен в Тбилиси, в Пантеоне на горе Мтацминда.

Могильщик (1912)

О могильщик, говоришь ты, что коль кто-то умирает,
Тень его в минуту эту все из нас позабывают?
Эх, не верится мне в это... надоел ты мне немного;
Сердобольную насмешку прекращай же, ради Бога.
Месяц май, цветенье розы, ветерок колышет травы,
Белая цветков команда, словно снег, теснит дубравы,
Солнце нежными лучами греет горы и долины,
Словно вышиты цветами эти дивные картины.
Там вдова, не видишь, плачет на могиле сиротливо?
В молодой душе страданье; разве скорбь её красива?!
Женщина убита горем; не вчера ли это было,

Что любимого мужчину забрала себе могила.
 И сегодня на могиле сердобольно так рыдает,
 Днём не ведает покоя, да и ночью сна не знает.
 На могильный камень сядет, на холодный, осторожно,
 И пропитана тоскою красота её безбожно;
 Волосы к земле распустит, льются слёзы бесконтрольно...
 Этот плач мне душу гложет, сердцу больно, сердцу больно!..
 Но что делать? О, могильщик, замолчи, чтоб тише стало...
 Слышишь, слышишь, как же стонет горемычная устало? —
 «Пусть я, как туман исчезну, как ночные привиденья,
 Мне, заблудшей, не дожждаться мира и успокоенья.
 Образ твой пусть сердце ранит, как и где бы я ни буду,
 Если я тебя не вспомню, если я тебя забуду».
 Что ж, могильщик, снова скажешь, что коль кто-то умирает,
 Тень его в минуту эту все из нас позабывают?
 Вот, хотя бы... там могильщик открывает дверь в ограду;
 Некий молодец хоронит милую свою отраду.
 Горем он убит, от гроба не отходит дорогого,
 А его любовь такая разве повторится снова?
 Скорбь его ведь безгранична, безгранично парня горе,
 Бьёт ключом из глаз страдальца горьких слёз кипящих море.
 Он клянётся: «Пусть покоя не дождутся мои кости,
 Солнца луч пускай не греет их в могиле на погосте,
 Пусть я, как туман исчезну, как ночные привиденья,
 Пусть, заблудший, не дождусь я мира и успокоенья;
 Образ твой пусть сердце ранит, как и где бы я ни буду,
 Если я тебя не вспомню, если я тебя забуду».
 Ну, могильщик, снова скажешь, что коль кто-то умирает,
 Тень его в минуту эту все из нас позабывают?
 Женщина же, о которой говорили, вновь приходит,
 С незабвенною могилой, словно тень, весь день проводит,
 Целый куст она приносит неувядших роз печальный,
 Чтоб украсить на могиле белый крест мемориальный.
 Эта женщина от горя, словно роза, увядает...
 Скорбь лицо её покрыла, желтизна в нём проступает.
 Ох, бедняга! От бессонниц у неё опухли очи, —
 Так бывает, много вспомнить заставляют злые ночи!
 А сейчас? Опять ты скажешь, что коль кто-то умирает,
 Тень его в минуту эту все из нас позабывают?
 Да и муж, позавчера что опустил любовь в могилу,

С кладбища уйти не может, без неё быть не под силу;
 Лик его свече подобен, как свеча он тает, тает...
 Муж портрету незабвенной скорбные слова читает.
 У мужчины от бессонниц тоже подоухли очи, —
 Так бывает, много вспомнить заставляют злые ночи!
 О, могильщик, снова скажешь, что коль кто-то умирает,
 Тень его в минуту эту все из нас позабывают?
 На скорбящего мужчину эта женщина невольно
 Вдруг взглянула: «Как и я, он плачет горько, сердобольно;
 Да, бездонна скорбь мужчины, сердце и душа бездонны,
 Всё он терпит горемычный, света и любви лишённый», —
 Этим взглядом говорило голубых очей сиянье.
 И у парня взгляд безмолвный вызвал сердца замиранье...
 Нет, сочувствие лишь это... ну а ты так улыбнулся,
 Будто вправду между ними круг таинственный сомкнулся,
 И его волшебной силой их сердца соединятся...
 Эх, я в это не поверю, так не может в жизни стать.
 Ведь когда покойных с клятвой до могилы провожают,
 До последнего дыханья клятву ту не нарушают.
 Ты пойми меня, могильщик, ты не знаешь скорбь мужчины,
 А иначе разве стал бы хохотать тут без причины?!
 Что же, женщине мужчина преподносит роз бутоны
 И вдове тоскливо шепчет: «Я влюблён, в тебя влюблённый.
 Ведь у нас одно же горе, раздели печаль со мною...
 Так объединим же души, будь, прошу, моей женою...
 Это правда, тех любимых мы своих уж потеряли,
 Наши же воспоминанья долетят до них едва ли.
 Хоть плачевно, хоть прискорбно, прошлое давай забудем,
 Новую семью построим... мы женой и мужем будем!»
 Погоди, дождись ответа, замолчи, могильщик колкий,
 Думаешь, что раз мужчина о своём не помнит долге,
 Так и женщина поступит? Нет, сгорю ведь от стыда я...
 Разве не вчера родного предала земле, рыдая?
 Перед призраком усопших ведь не шутят, не смеются!
 Вот увидишь, чьи-то слёзы парню точно отольются!
 Правда, женщина, о Боже, голову склонив стыдливо,
 Шепчет: «Я согласна, только будущее справедливо...
 И у нас одно ведь горе, на него закроем веки,
 Уводи куда ты хочешь... я теперь твоя навеки...»
 А сейчас имеешь право, о могильщик, молвить снова,

Что могильный крест хоронит нашу память так сурово.
И, наверно, муж с женою, хоть живут и не скучают...
Но со временем могилу, овдовев, не посещают,
Пыль и сорняки сегодня здесь с могил не убирают,
Ну а розы без ухода цвет увядшие теряют...
Упокойтесь, упокойтесь, ныне позабытых кости...
В ваше бытие не лезут жизни временные гости...
Упокойтесь же вы с миром, сон бессмертен ваш и крепок...
А могилам здесь не нужно ни кустов, ни роз, ни веток!
Ну а смертным слёз теченье разве пользу приносило?
Здесь ни сон им не поможет, и ни случай, и ни сила...
Все живут, все умирают, без причины, по причине...
Горе тем, кто и при жизни забывает о кончине...
Колокола звон... те двое, кто о роке забывает,
Им обоим серебристый гроб могильщик забывает...
Забивая, горькой мысли улыбается он дико,
Знает, знает ведь могильщик, что мало, а что велико...
Упокойтесь, упокойтесь, ныне позабытых кости...
В скорбный миг мечтал я часто быть костями на погосте.

Я и ночь (1913)

В час, когда сей стих пишу я, полночь, раскалившись, тает,
Ветерок, в окно влетевший, сказку поля мне читает.
В лунном серебре поляне сбросить одеяло лень;
Ветерок трясёт и треплет под окном моим сирень.

Небо сине-голубыми так прорезано столбами,
Переполнено любовью, как стихи мои слогами.
Так таинственно долина вся укутана здесь светом,
Так полно в ней чувств высоких, как сей ночью в сердце этом.

Издавна и я глубоко тайну в сердце сохраняю,
Никому не доверяю, к ней и в мыслях не пускаю.
И приятели не видят грусти в этом человеке,
Или что в глубинах сердца там припрятано навеки.

Мысль мою украсть не смогут ни на миг, — скажу опять я, —
Тайну сердца не похитят ласка девы и объятья.
Нежный вздох во сне не сможет, не удастся и вину,
То отнять, что я упрятал в душу, в сердца глубину.

Только ночь в часы бессонниц в эти мысли проникает,
Знает все мои секреты, ночь все тайны сердца знает.
Знает — как один остался, изнывал, страдал, любя...
Только двое нас на свете: я и ночь, лишь ночь и я!

БЕЗ ЛЮБВИ БОЛЬШОЙ (1914)

Без любви большой
солнца нет на небесном своде,
ветер не дует, лес не дрожит
радостной душой...
Без любви большой не бывает
красот в природе,
и бессмертия не бывает
без любви большой.

Ну а совсем другая любовь —
последней сласти,
так же, как и осенний цветок,
что первых милей,
она не влечёт бессонные
бурные страсти;
дикие звуки, детский каприз —
не нравятся ей...

И холодной осенней порой
взращённый в поле —
не ветерок, а сам ураган
страсть ту ласкает,
что весенним, столь нежным цветком
не дышит боле...
и вместо страсти лаской немой

Яков ФРЕЙДИН ПОЧЁМ АВАНГАРД?

Давным-давно, лет, пожалуй, тридцать, не менее, в один из безмятежных отпусков судьба занесла нас с женой в бельгийский городок Брюж, или как его произносят на фламандский манер — Брюгге. Говорят, у каждого города есть своё лицо — у Брюжа оно было слегка печальное, но такое, что хочется задержать взгляд и потом вспоминать его ещё много лет. Приманок для туриста там множество, но для нас главными были три. Первая — каналы, по которым жизнь течёт, будто в Венеции, только без карнавальных масок, пафоса и нескончаемых толп туристов. Вторая — мидии, о которых моя жена говорит с таким жаром, как иные говорят о первой любви. Третья — гобелены: старинные, искусные, и, что самое заманчивое, к ним, вернее — к копиям, позволено прикоснуться ладонью, а не только глазами.

В тот первый приезд мы взяли от Брюжа всё, что он был готов нам дать. Прокатились по каналам на плоскодонной барже, местном ответе венецианской гондоле. Пообедали в кабачке, где хозяйка, пухлая и румяная, как булочка на Пасху, варила мидии в бульоне по старинному рецепту. А в последний день нашего там пребывания с утра забрели в магазинчик, что прячется за скромной вывеской и пахнет старыми сундуками и терпением мастеров.

Гобелены там были — ах! — на диво, разумеется, не подлинники — те висят в музеях и средневековых замках, а прекрасные копии. Некоторые ткани, другие отпечатаны на льне, но с таким качеством, что всегда тянет сделать вид, будто никто не видит подмены. Мы купили тогда «Императора Максимилиана I на охоте» — большой гобелен во всю стену, что по сей день висит у нас дома и смотрит на всех в четыре глаза: императора и его ретивого коня. Есть два оригинала этого гобелена: один в Лувре, а второй в Юсуповском дворце в Питере. Справедливости ради стоит сказать: четверть века спустя мы снова приехали в Брюж, зашли в тот же магазинчик, и он показался родным, но постаревшим. Гобелены там были всё те же по названию, но далеко не те по каче-

ству — ненатурально крикливые краски, дешёвый блеск, бирки «Made in China», и никакой больше магии.

В этот второй приезд судьба подарила нам занятную встречу, о которой я хочу поведать. В первый же день после того, как мы наведались в магазин гобеленов, отправились в Музей современного искусства. При иных обстоятельствах музей с таким названием я обошёл бы стороной за три квартала, ибо полагаю «современное искусство» наглой профанацией. Ну тут дело было иное: на городских площадях, на каждом столбе и тумбе висели афиши, кричавшие, что в том музее проходит выставка русского авангарда. Кандинский, Гончарова, Малевич, Родченко — имена, недоступные во времена нашей советской молодости, а потому притягательные. Афиши обещали, что все работы редкие, доселе нигде не показанные. Ну как тут было не поддаться соблазну?

Мы подошли к площади, где высился музей в греко-романском стиле, и сразу заметили: та же афиша на фасаде с именами русских мастеров авангарда теперь выглядела как шутник, который передумал. Казалось, что огромная афиша вместо призыва «Не проходите мимо!» говорила совершенно противоположное: «Будете проходите мимо, проходите!». Двери музея были закрыты, площадь заполнена полицейскими машинами с мигалками, толпа зевак переминалась с ноги на ногу в ожидании дальнейших событий. Мы решили остаться и подождать. Опыт подсказывал: в таких случаях рано или поздно что-нибудь да произойдёт.

Так и случилось. Минут через десять двери музея широко распахнулись, и наружу вышла группа полицейских, человек шесть. Они вели под руки довольно привлекательную молодую женщину в наручниках. Её бережно, но без сантиментов, усадили в машину, и кортеж уехал. Толпа даже не шелохнулась, все стояли в изумлённом оцепенении, потом вдруг заговорили разом. Люди стояли, обсуждали, шептались, спорили — на всех языках Европы, а может, и мира. Версии летали самые дикие: кто-то даже уверял, что арестованная дама хотела взять в заложники всю коллекцию музея и грозились её взорвать, если... ну, если не то, так это. В чём там было дело, мы так и не выяснили, в музей не попали и решили, что рано или поздно узнаем из ТВ.

Время перевалило за полдень, и мы подумали, что пора бы поискать какое-то подходящее место для ланча. Недалеко от музея мы набрали на погребок под названием «Curiosa», меню которого нам показалось интересным. Под низким сводчатым потолком в интимной тесноте стояли с дюжину столиков кремового цвета, около них стулья с мягкими сиденьями, а на дальней стене висела красочная деревянная скульптура человека с чёрным сердцем вместо головы. В стиле того самого авангар-

да, на выставку которого мы не попали. Народу было много, но нам повезло — в углу обнаружился незанятый стол. Мы уселись, я заказал себе рыбный суп, а жена свои любимые мидии. Пока еду не принесли, мы разговаривали, обсуждали происшествие у музея и разглядывали публику. За соседним столом сидел мужичок лет сорока пяти, вид которого заметно отличался от остальных посетителей. Волосы его были взъерошены, на сером лице, покрытом давно небритой щетиной, были видны следы злоупотребления алкоголем. Одет он был как-то сумбурно, казалось, всё на нём было с чужого плеча, не по размеру. Перед ним стояла миска с нетронутым салатом и пустой винный графин. Было заметно, что он прислушивается к нашему разговору. Вдруг он привстал, передвинул свой стул поближе к нашему столу и сказал по-русски слегка заплетающимся языком:

— Вы сами не местные будете? Я слышу, вы тут про выставку говорите. Значит видали, что там случилось? И-эх, да кабы вы знали... Это ведь всё из-за меня так вышло. Да! Из-за меня! Угостите винцом, я вам такое расскажу... Я сам из Питера, меня Селиваном звать. Меня сюда в Бельгию ихние сыщики привезли, из-за этих самых картин, которые я писал. Не верите?

* * *

— Очень рекомендую имбирную, — заплетающимся языком сказал Селиван незнакомцу, который подсел к его столику, что стоял в боковой нише питерской рюмочной «У Кеши» на Гороховой улице. Селиван был испытый мужичок невысокого роста с взъерошенными волосами неопределённого цвета, зелёными, как у кота, глазами, и в заляпаной куртке с эмблемой какого-то футбольного клуба. После третьей рюмки у него возникла зудящая потребность в общении, поэтому новенький, которого в прежние дни здесь вроде не замечалось, оказался как раз кстати.

Это был средних лет высокий мужчина с седеющими волнистыми волосами. На нём был тёплый плащ, галстук и очки в дорогой оправе. Около себя на лавке он поставил портфель — деловой с виду человек. Он ничего не ответил, лишь мельком глянул на пьяненького соседа, потом залпом опрокинул свою рюмку перцовки, чмокнул и закусил солёным огурцом. Безразличие новенького Селивана не смутило, и он продолжил, обращаясь скорее к себе самому, чем к незнакомцу:

— Имбирная, она очень для здоровья... животворная. Да-с. Выводит из организма гадость и взамен наполняет вдохновением. Я вижу, вы перцовку употребляете. Это неплохо, она тоже нутро чистит. Вот только для вдохновения от неё никакого эффекта, одно лишь обманное ощущение крепости без возвышения души, так сказать. Деньги на ветер

для художественной природы. Я вас тут раньше не примечал, позвольте узнать, вы кем будете... по профессии?

Незнакомец ничего не ответил, откусил огурец и показал жестом проходящему мимо официанту: «ещё одну такую». Затем, не обращая внимания на болтливого соседа, достал из кармана телефон и стал что-то рассматривать на экране. Потом набрал номер и сказал:

— Оля, не забудь на все подрамники с задней стороны наклеить бумагу... Да, до самых краёв. Что значит какую? Плотную, упаковочную, в левом шкафу стоит рулон. Ну пока, я скоро буду...

Он отключил телефон и принял от подошедшего официанта вторую рюмку перцовки.

— Очень интересно! — среагировал на его телефонный разговор Селиван, — вы сказали магическое слово «подрамники», значит, мы с вами коллеги? Я тоже художник, так сказать. Творю... А вы, позвольте узнать, в каком жанре?

— Художник? — впервые поднял на него глаза сосед. — Работаешь где или сам по себе?

— Да, именно так — волшебник кисти и тюбика! — гордо произнёс Селиван, поднимая свою рюмку в символическом тосте, — я сам по себе. Начальства над собой не терплю, воспаряю в одиночестве, так сказать. Ваше здоровье, — добавил он и заглотнул свою имбирную.

— Можно поподробнее? — спросил сосед по столику, — учился где или самоучка? Что именно пишешь и вообще живёшь на что?

— Учился я в академии Репина, тут у нас в Питере. Стало быть, я вроде как академик по живописным наукам, — хрипло засмеялся Селиван, — что пишу? В основном питерскую природу, старые дома, ростральные колонны, Самсона в Петергофе пишу. Разное. Всё, что туристам нравится. С этого и живу. Могу работать любым материалом: хоть гуашью, хоть маслом, но лучше всего акрилом — он быстро сохнет, потом сверху лаком покрыл и от масла не отличишь...

— Посмотреть можно? Ты где работаешь? Мастерская у тебя или дома пишешь?

— А чего не посмотреть? Посмотреть можно. Я в Спасском переулке живу, тут недалеко. У меня комната большая, хотя в подвале. Там и работаю. Света там маловато, но управляюсь. Вы меня угостите ещё имбирной, и покажу, коли интересуетесь.

Незнакомец заказал для него рюмку имбирной, расплатился, и они вышли на улицу.

Комната в старом доме, где жил и работал Селиван, действительно была просторная, что для подвального помещения было несколько

необычным. Через небольшое окошко под потолком пробивался тусклый зимний свет. Беспорядок был ужасный: у стен стояло множество картин и рисунков на картоне и на холсте, рулоны и обрывки бумаги валялись на полу. Везде разбросаны банки из-под пива, пустые бутылки, остатки еды, какое-то тряпье, ботинок без каблука, выжатые тюбики и кисти с засохшими красками. Слева — заваленный хламом стол и диван с рваной обивкой, который, по всем признакам, служил художнику кроватью. В правом углу комнаты под окном стоял деревянный мольберт.

Селиван включил в комнате свет и сказал:

— За бардак извиняйте, не ожидал гостя. Вас что интересует? Вот мой ширпотреб, так сказать.

Он стал поднимать с пола небольшие холсты на подрамниках, поворачивал их к лампе под потолком и пояснял:

— Тут вот у меня Летний Сад осенью, со скульптурами. Акрил. Ещё лаком его не крыл, потому вид пока жухлый. На этой — Адмиралтейство, а вот, смотрите, Александрийский столп. Или вот Нева зимой. Конкретно чем интересуетесь? Я недорого беру, по договорённости. Вас как величать?

— Олегом Николаевичем меня зовут, а тебя как? Селиван? Хорошее греческое имя... Что-ж, Селиван, это всё довольно интересно. У тебя глаз цепкий и рука уверенная, хорошо вас в Рёпинке учили. Крепкая школа.

— Да уж, не жалуемся. Вы что-то брать будете?

— Я, господин Селиван, местный и видами Питера не интересуюсь, а что мне действительно интересно, так это авангард. Такой, как сто лет назад писали. Ты такие имена знаешь, ну скажем... Наталья Гончарова, Ларионов, Эль Лисицкий? Знаешь?

— Как не знать! Не пень какой, всё же в Рёпинке учился. Знать, конечно, знаю, но это по мне пижонство, что они делали. Дурили публику. Само собой, воображение там есть, это у них не отнять, но только это не живопись, как мы понимаем, а так... игра в бирюльки...

— Ну, а если я тебе заказ сделаю, покажу какую-то работу, к примеру, того же Ларионова и скажу: сделай мне, Селиван, похожую. Да так, будто сам Ларионов сделал, в его стиле, то есть, такими же красками. Чтобы он сам, если бы жив был, за свою работу признал? Можешь?

— Ха! Да мне это как два пальца об стол! А вам зачем, позвольте спросить?

— Мне именно это интересно. Я коллекционер, собираю старый авангард. Но где сейчас найдёшь оригиналы? Вот я и подумал: если оригиналов не достать, то хорошо бы на стену у меня дома повесить пускай

...За ночь без отопления квартира реально вымерзает. Холод. Он сутками преследует тебя в твоём собственном доме, как лютый зверь, он везде: в стенах, в дверных ручках, в полу, на полках с посудой, в мобильнике, холод в коленях, в суставах твоих пальцев и в твоей голове...

Михаил Ордовский-Танаевский

*НИЧТО НЕ ВЕЧНО, ДЬЯВОЛ, ПОД ЛУНОЙ,
Но вечно зло, ох, дьявольски живуче,
Смолой кипучей не сгорает в буче,
Чубасто завихрившейся войной.*

Михаил Ковсан

...Эмиль приказал окаменевшему, как тогда на плацу, эсэсовцу встать на колени лицом к воде. Немец исполнил приказ. Чуда он не ожидал... Из-за шума воды выстрела никто не услышал. Тело Курта рухнуло в воду и быстро исчезло между валунов.

Борис Пукин

*Советчики нашёптывали мне:
«Пойми, ты состоялся лишь вчерне,
Но антисемитизм неустраним.
Бери, пока не поздно, псевдоним!»*

*А я его, проклятого, не брал,
Коллегам и читателям не врал,
Не требуя оваций, в меру сил
Старался оставаться тем, кем был.*

Марк Вейцман

...Спустя пару дней он прочтет речь Эммы Голдман, всю, без купюр, в анархистской газете, вырежет и вклеит в особую тетрадь. На память. Но думал ли он тогда, что едва не погибнет в теракте, устроенном из «сознательного протеста»?

Давид Гай

...В 1946 году Агата Кристи в интервью газете «Сидней морнинг геральд» сказала о себе: «Самую большую неприязнь вызывают у меня толпы, громкие звуки, граммофоны и кинотеатры. Мне не нравится вкус алкоголя, и я не люблю курение. Зато я люблю солнце, море, цветы, путешествия, необычную еду, спорт, концерты, театры, пианино и вышивание».

Ксения Гамарник

...Суд приговорил куратора Кейт Де Врис к шести месяцам тюрьмы. Коллекция Олега Томашевского по постановлению суда была конфискована в пользу музея в Брюже, а его шенгенская виза заморожена на пять лет.

Выставка в Музее современного искусства Брюжа была продлена на 3 месяца под новым названием: «Копии Русского Авангарда XX века», и благодаря паблисити, созданного судебным процессом, имела даже больший успех, чем первоначальная.

Яков Фрейдин